

Николай КАРАСИК

ЛЮБОВЬ, ОНА РАЗНАЯ

Повесть

Издателю С.П. КОЗУБЕНКО

НИКОЛАЙ

— Мамань, а мамань, послушай?

— Опять, что ль, стихи? Жениться тебе давно пора, деток иметь. А ты все стишки сочиняешь, как если б мальчишка какой. Не дождусь, видать, от тебя внучат.

— Тебе что, мало внуков? Вон у брата четверо, у сестры двое.

— Те отдельно живут, мне и нянчить-то их не приходилось почесть. А вот ты — кормилец наш с отцом... Наши-то лета уклонные... С тобой нам доживать, твоих деток, значит, и нянчить-растить. Уж двадцать пять стукнуло. Все друзья поженились, а он все стишки кропает, как мухой какой. Эх, горе-беда! Ну чего уж там! Читай, читай, — сокрушенно вздыхала Анюта, неторопливо начиная на дубовом столе тесто яблочными дольками вперемешку с черной смородиной.

— Мамань, а мамань, — добродушно улыбаясь, спрашивал Николай, — а пироги будут только с

яблоками да смородиной?

— Не только! Напеку еще и с рыбой, твоих любимых расстегаев. Ну так что там накалякал-то?

— А? Любопытно? А то: женись да женись. Женюсь, уж не до стишков будет.

— Что ж так? Коль добрая жена да любимая, так о ней только и будешь писать.

— Любимая моя давно замужем. А больше мне никто не любит, ты знаешь. Ну нравится Нюрка, потому как красивая да веселая. Хочешь — пойдем сватать.

— Степанихина?

— Степанихина. А чего это ты будто испугалась?

— Да уж неожиданно как-то, сынок. Сразу и сватать. Ты хоть гулял с ней?

— Да провожал с гулянки до дому несколько раз. Нюрка, говорю, пойдешь за меня замуж?

— Ох ты Боже мой, — Анюта засуетилась, всплеснула липкими от теста руками. — Ну а она что?

Николай Анатольевич КАРАСИК, поэт, драматург, прозаик. Родился в 1951 году. Окончил филологический факультет Липецкого педагогического института. Почти сорок лет отдал педагогической работе: работал учителем русского языка и литературы, завучем.

Живет в Липецке.

– А она: смешной ты, Колюшка. Не целовал ни разу, а уж сватаешь...

– Смелая, – только и вымолвила Анюта. И задумалась.

– Ну что, мамань, стихи-то читать?

– Погодь, не до стихов уж. Оголоушил. И ты всерьез насчет сватовства-то?

– Ну а чего? Девка красивая, работающая, степенная, охальников гоняет. А я пошел с ней – и она рада. Значит, нравлюсь.

– Еще бы... Ты многим девкам нравишься. Мамаши-то их так ко мне и льнут, кто с какими угодами. Уж я-то вижу почему. Только с бухты-барухты кто же женится? Ну да ладно, вот напеку пирогов... Пирог, видать, кстати... И пойдем с тобой на совет к дедушке. Послушаем, что скажет.

– Ну, дед Никиша, конечно, голова, сходим, сходим. Деда я уважаю, – обрадовался Николай.

– Его все хорошие люди уважают. – с гордостью проговорила Анюта. – Ты вот что, жених, сходи в летнюю, там уж теперь еда поросням упарилась и пристыть успела. Наклади в ведерко и накорми их. Слышишь? Южат уж, есть просят. Да смотри не сожги их, рукой перемешай...

– Да знаю, знаю, каждый раз приказываешь. Не сожгу.

– А потом воды наноси. Да! Чуть не забыла! Загляни, у гусыни там гусятки не появились ли? А то задавит невзначай. Не сегодня-завтра должна вывести.

И уже уходящему за дверь сыну вдогонку причитала:

– Заглянь в закут. Чисто ли там у Буренки с Малышкой?

А ушел, подумала: «Совсем недавно будто мамаша говорила, что покуда дети неопределенные есть,

хлопочешь и не замечаешь старости. А как последнюю чадушку женишь или замуж отдашь – вот тогда и старость», – и всплакнула. На душе было муторно; недолгоблывала Анюта Степаниху: «Затаенная Степаниха, себе на уме, хотя вроде бы и обходительная. Нюрка-то всеми выходками в нее. Ну да ладно, что отец скажет».

Отец Анюты, дед Николая, жил на хуторе с младшей дочкой Матреной, успевшей рано выйти замуж, и сыночком обзавестись, и с мужем, служивым, разойтись. Анюте неприятно было видеться с сестрой Матреной, своевольницей. Не послушалась Матрена ни отца с матерью, ни ее, старшую сестру, не захотела жить со свекровью, ждала мужа с солдатской, вернулась в родительский дом, свекровь-то и унизила. А теперь вот винит свекровь: дескать, та разбила, жизни не дала. А ведь говорила Анюта Матрене: «А ты смирись. Терпи. Как же я-то тридцать лет терпела? Ты знаешь, какая у меня свекровь была? А я ни ей, ни людям про нее слова лихого не выронила». А теперь мотается Матрена. Ухажеров-то хватает, кобелей, прости Господи. Как выйдешь куда, бабы галдят: «Анюта, Анют, а у сестры-то твоей вон кавалер новый... Слыхала?» Да, кавалеров хватает у Матрены, а вот Виталик без отца растет.

И потому тошно лишний раз встречаться Анюте с сестрой.

Дед Никиша, глядя на внука, затаенно улыбается, спрашивает:

– А ты, Колюшка, знать, прям-таки и влюбился в Нюрку? Або дюже смазливая.

И, видя, как Николай смущенно пожимает плечами, твердо, но тихо проговаривает, словно что по полочкам раскладывает:

– Красивая жена – для людей, а мудрая да добрая – для себя и для детей. Да, Николушка, жениться – не напасть, а вот как бы женатым не пропасть. Оно ить как! Все по роду. Яблочко от яблоньки далеко не падает. Степан, дед Нюркин, ух и ворюга был! Бывало, не жнет, не молотит, а амбар своротит – тем и живет. И отец Степана. Конокрады потомственные... ворюги отпетые...

– Ну, а Нюрка-то что? Да теперь и коней в колхозе почти нет. Никому и не нужны. Тракторы падут, – несмело возражает Николай. Но дед не отступается:

– Колюшенька. Аукается и через два, и через три поколения. Нарожает тебе Нюрка сыновей, к примеру... Как зачнут красть... Не коней... банки, магазины грабить? А?

– Да и Степаниха не простая, – осторожно вмешивается в разговор Анюта. – Тихая, а в тихом омуте...

– Степаниха? Хм, – дед Никиша хитро улыбается, поглаживая белоснежную бороду. – Про таких говорят: «У каменной бабы и посоха железного не выпросишь». Затаенная. Сама – ко всем, но к ней никто не вхож: кобель на цепи перед крыльцом завсегда. Нет, не наша девка Нюрка, не наша. Мы люди открытые. Женишься – пропадешь. Морочка одна. Послушайся, не женись. Эка невидаль – красивая. Авось, даст Бог, еще красивее углядишь. Да главное, Колюш, и не красота, а душа. Ино яблочко уж какое приглядное, а надкуси – кислятина, а ино было бы сладкое, да червь изъел. Вот так и люди. Как бы Нюрка-то червоточной не была заражена, у-у-у?!

Последнюю фразу дед произносит так, что невозможно понять, заражена все же Нюрка червоточной или нет.

И сватовство не состоялось.

Не матерью, мачехой злобною вломилась слякотная осень – не переждать. За нею – своенравная, нескончаемая зима. Утром – еще темно! – Николай спешил на работу; вечером – уже темно – возвращался. Известно, осенью и зимой дня не видишь, а значит, и сам себе не принадлежишь. Работа. Работа. Утром надо машину отогреть, горячей воды в радиатор залить, завести мотор, наряд получить, путевку выписать – да и ползти черепахой или за лесом для деревообрабатывающего завода – артели имени Чапаева, или с изделиями – санями, табуретками и т.п. – в район, на базу. А если старенький «ЗИЛ» и вовсе чихает да кашляет, в любую непогоду валяться под ним, грешным, чинить.

Но работу свою Николай любил – и время летело быстро. Говорят, тянется оно, как в тюрьме, когда человеку ничто не мило.

Пришла весна. Зацвели сады (а садами село славилось издавна). Красота-то какая! Завораживающая. Пьянящая.

Под выходной приоделся Николай, чуб, вьющийся, льняной, с солнечным загаром, пригладил, усики темные – не чета волосам! – подровнял, наодеколонился «шипром» да и на гулянку, на сельский пятачок, откуда уж слышны разноголосые гармошки – заливиная, щемящая Тольки Окуня и бойкая, разухабистая Володьки Штапеня.

И-и-и-и – о ты Боже мой! Батюшки-светы! Да это-то кто такая? Откуда и взялась? Не видал ее Николай прежде на пятачке ни разу. Глаза смоляные, носик точеный, как у Нефертити на репродукции из учебника истории, губки пухленькие, пунцовые – и красить не надо, горят сказочным цветочком аленьким. И вся, вся лилейная, то-

ченая – прелесть просто. В сердце входит – что и дверь с петель.

– Толь, а Толь? Это кто такая?

– Пока ты, Колюнь, сиднем сидишь, девки, как тесто на дрожжах, подходят. Это, друг мой, Варенька, Федора Залесского дочка. Что? Хороша?

– Просто жар-птица какая-то, – вздыхает Николай.

– Первый сорт девка, ей-Богу, – горделиво подытоживает Толька, как если б Варенька ему сестрой приходилась.

– Ну, мож, уже и не первый сорт. Всю осень с Алешкой Бехтеревым провождалась. А он, как известно, парень не промах. Ну, его в армию забрали. Говорят, поначалу писал ей, а потом, вишь ты, и концы в воду. Вот она, сердечная, опять на улицу и подалась, – спешит открыть Николаю всю правду сразу Васька Стиляга – дружок Тольки Окуня.

– Фу ты, ядрена вошь! Ну все опаскудит! И чего ты, Васек, такой, а? Бабы сплетни всегда прикарманишь да и сыпанешь, как семечки... Ну и встречалась, ну и писал. И что из того? Не опошляй. Девка что надо. Посмотришь: до осени не пропоет, не пропляшет – замуж возьмут.

И словами этими как бензина плесканул в воспаленное сердце Николая. Ох и запылало ретивое! Аж до внутренней дрожи. И как только заиграл Толька «Амурские волны», Николай – к Вареньке. И пригласил на вальс. Сдержанно, но пошла. А он танцует – сердце бьется, рука на талии ее дрожит. После танца Николай глянет, глянет на Вареньку, а она на него, украдкой. И провожать пошел. Пиджак свой на плечи ей накинул: ночь уже, холодно. У калитки она сняла пиджак, по-

благодарила, протянула ему свою холодную почему-то руку и поспешила домой: мол, поздно уже.

Шел домой Николай – душа в небесах, а мысли еще выше, и все о Вареньке. С нетерпением ждал выходного как просветления в своей мрачной судьбе. И опять пошел провожать Вареньку, и обнял нетерпеливо где-то в темном переулке, и поцеловал – несмело, неловко и неумело. Ему показалось даже, что ей это было неприятно, но она нисколько не смутилась и говорила о том о сем с Николаем так же непринужденно, как и до поцелуя. А он корил себя, что такой неудельный: «Видать, не зря меня дразнят Тютюкой, Бирюком...»

Потом уж встречались и среди недели, то на реке, то в колхозном саду.

Когда он обнимал ее, его прожигала дрожь, кружилась голова. Она же оставалась, как ему казалось, безразличной, как манекен витринный. «Ничего, разожгу», – думал Николай.

И вот он с матерью опять у дедушки Никиши.

Николай на сей раз шел с уверенностью, что дед одобрит его выбор. Но, увы... Дед был сегодня задумчив и печален.

– Слыхал, слыхал, – сказал он и крестом сложил руки на груди.

Анюта и Николай ждали, когда же дед скажет еще что-нибудь, но он молчал. Молчали и они, терпеливо и грустно. Наконец дед сказал:

– Анют, а что ты-то думаешь насчет женитьбы сына на Вареньке этой?

– Я-то, – спохватилась мать Николая, – да я-то что? Я – женщина. Тут надо, чтобы мужик слово сказал.

– Мужик? А отца-то у Николая нету разве? Что там Филя твой кажет?

– А Филя давно гутарит: на кой хочет, на той нехай и женится. Сколько можно выбирать. Не принц, чай, заморский.

– Ну что не принц, то не принц. Только и не принцу по-человечески прожить надоть. Вот что, Николай, тебе скажу. У Вареньки по материнскому роду давно ни деда, ни бабки. Ты их, может, и не помнишь. Эт вот я зажился на белом свете. А они ить были ровесниками моими. С дедом Вареньки, Мишей, я в Первую Мировую воевал бок о бок. Сильный, смелый солдат; честный, добрый товарищ; Георгиевским крестом награжден был. А жена его, бабка Вареньки, здесь шалавилась, да и не с одним мужиком. Позор! Вернулся Мишка, побил, говорят. И простил. А куда деваться? Детей орава. Четверо у них уже было. А Пелагея-то, мать Вареньки, кичливая...

– Женюсь! – вдруг резанул Николай, аж молнии сверкнули в глазах.

И воцарилась недобрая, тягучая тишина. Слышен стал шелест крючка – Матрена поодаль плела кружева.

Дед Никиша встал, походил по комнате:

– Последние слова мои послухай, Николай.

Николай молчал.

– Вестимо, влюбленному море по колено, а лужа по уши. Варенька твоя похожа на бабку как две капли воды, точь-в-точь бабка. Та, покойница, своевольная, непокоримая была... Вспомняешь потом мои слова.

Во все время разговора Матрена сидела в сторонке (в старой, построенной еще в царские времена избе другой комнаты не было). Размеренно и споро плела кружева для новой праздничной скатерти. И молчала: старик-отец не любил, когда в серьезный разговор кто-то вмешивался (она это знала с детства). Но когда племянник, который по годам был чуть младше Матрены, встал, чтобы уйти, она сказала:

– Женился бы ты, Николай, на Дусе. Любит она тебя со школьной парты. Не найдешь ты лучше ее никого.

Анюта вспыхнула:

– Нашла невесту! Засиделку! Была бы такая достойная, как ты ее расписываешь, давно бы замужем была. Гундосая да слепая. А живут-то как? Двор крыт небом, обнесен ветром...

Николай осуждающе, с болью глянул на мать, но промолчал. А дед Никиша, поглаживая седую бороду чуть вздрагивающей рукой, грустно присовокупил (а к чему?):

– Смолоду по болотам бегаем, а потом уж и по доброй дорожке плетемся.

ВАРЕНЬКА

Когда она шла, на нее глядели все: парни с затаенным любопытством, с азартным восторгом; мужики, частенько поворачивая головы вслед, – со страстью, нередко нескромной; старики – с добродушным интересом, сопро-

вождая свои взгляды улыбкой то ли почтительной, то ли насмешливой; молодые женщины – с осторожностью, будто она проносила какой-то опасный для них предмет, а то и с открытой завистью-злостью... И почти не было людей, кто бы

не обращал внимания, когда она шла. И она, как успешно начинающий артист на сцене, испытывала при этом внутреннее волнение: по всем ее мышцам разливались пульсирующие толчки, словно потаенные мягкие пружины, которые, вероятно, исподволь делали ее походку такой женственно удивительной, неповторимой. Даже мать однажды сказала: «Варя, как ты ходишь?» И на ее вопрос: «Как, мама?» ответила, пожав плечами: «Нескромно как-то. На тебя же все смотрят».

Варенька обиделась: «Я-то тут при чем, что смотрят», – из ее глаз брызнули слезы. И мать отступилась. Мать оберегала ее, как не оберегала никого из старших детей, всю голову сломала, пытаясь разрешить ее судьбу. В город отправить учиться – пропадет она там со своей красотой. Нет-нет, из дому никуда. В колхоз... с тяпкой... на свеклу? Она и на своем-то огороде никогда не работала толком: сорняки там-сям оставит, свеклу или молодую картошку ненароком порубит. Погорилась мужу, а он: «Замуж ее отдать надо, Пелагея».

Пелагея согласилась: замуж, и побыстрее, за работающего степенного парня, да чтоб постарше, да чтоб с характером, дабы в руках держал. Уж больно строптива да своевольна дочка. Но долго боялась Пелагея выпустить ее на гулянье, на сельский пятачок. И наконец в разгар прошлого лета рискнула: «Сколько можно взаперти-то держать. На Покров-то уж семнадцать будет». Отпустила, а сама у окна допоздна и просидела. И в первый же вечер Варенька к калитке пришла с кавалером. И как только скрипнула сенная дверь, Пелагея – в постель, притворилась спящей: утром вечера мудренее. Как всегда,

утром встала ранешенько. Подоив, проводила в стадо корову; выпустила кур на травку; растопила печь; пожарила картошку; напекла оладьев; накормив, снарядила мужа на работу (собрала ему обеденный узелок – сальца, яичек да хлебушка)... И стала ждать, когда дочка проснется. Не давала покоя мысль: «Кто же это ее провожал?»

И вот узнала: Алешка, Бехтеревых сынок. Оно, конечно, парень ладный, работающий. И по годам – уже двадцатый. В армии не был: мать у него ногу ломала, болела, вот и добился отсрочки. Что в армии не был – это ничего. И до армии женятся; авось, оттуда все домой приходят. Неладно вот что: девку соседскую, Нюську, ославил да и кинул. Говорят, она от него аборт сделала. Как бы и тут того же не случилось. И, рассказывая обо всем этом Варю, Пелагея назидала в который раз:

– Ох, смотри, Варька, сколько я тебе говорила-приказывала. Больше всего бойся поцелуев. Особенно в шейку да в плечики. Боже паси – куда еще. Мужики – огонь. А мы для них как порох.

Варя только смеялась:

– Прошлый раз говорила, что мы для них как бензин. Ну хватит, мам. Не бойся! Я не сахарная, не растаю. А про Нюську я слышала. Да разве они пара? Он – красавец, а она замухрышка, да к тому же конопатая, как яйцо воронье. Она же сама за ним бегала, проходу не давала, вот и добежалась. Не жалко мне ее.

– Гордая ты, жестокосердная, – вздохнула Пелагея.

Недолго Варенька с Алешкой погуляла: в ноябре уже его на срочную призвали. Но зато как погуляла!

Нет, Алешка не дожидался, когда Варенька под выходной придет на пятачок. Да разве в деревне мало других мест для встреч? Будто и повода для встреч найти нельзя! Благодаря его неутомимым выдумкам, Варя совсем заправской, работающей колхозницей сделалась на удивление матери: то на ток шла зерно ворошить-просушивать да по мешкам рассыпать (мужики – в том числе и Алешка! – мешки те на подводах на элеватор увозили), то солому скирдовать (Алешка с мужиками на стогу, а Варенька с бабами да с девками снизу подает). Зато после работы все спешат по домам, а они – на речку, в лес или в какую-нибудь копну в поле. Ох и целовались. Кажется, Варенькины пухленькие пунцовые губки сделались еще ярче и выразительнее. Варенька испытывала, познавала себя и Алешку (впервые она была так близка с парнем). Она нарочито позволяла себя целовать и ласкать, как только хотелось ему, потому что сама получала от того неизведанное ею томительное наслаждение. Его близкое горящее тело доставляло ей радость, даже терпкий пот был приятен. Его усиливающееся напряжение открывало в ней исподволь какую-то потаенную дверцу неизведанного чувства...

И тогда только Варенька сознавала, что дальше нельзя. И останавливала Алешку. Он нехотя повинился. Как норовистый необъезженный конь вздымается, скачет, грызет удила, рвет из рук конюха повод, но все же входит в оглобли и дает себя запрячь, так медленно усмиряться, остывал Алешка и в изнеможении валился ниц лицом.

Варенька день ото дня ждала признания в любви и предложения.

«Замуж, замуж, и только за него», – думала она, прижимая его

хмельную голову к груди и поглаживая черные, как смола на изломе, волосы, искрящиеся от ее прикосновений. Но он молчал. Точнее, он говорил, и много. Восхищался ее красотой. Называл ее звездочкой, солнышком. Умилялся запахом ее волос, тела, как умиляются запахом свежих цветов. Говорил о своей страсти и желании слиться с ней в одно целое. Но не о любви.

И тогда Варенька решилась.

– Алешенька, а ты меня любишь? – спросила она однажды после очередных ласк, доведших обоих до иступления.

Он тяжело вздохнул, помолчал и ответил вопросом:

– А ты меня?

Варя не ожидала такого ответа, но, ничуть не смутившись, сказала:

– Я – да. Люблю. Иначе стала бы я с тобой по копнам валяться? Что люди-то скажут? А ты?

– Отец мой вон говорит: парень способен понять, любит ли он девушку или нет, тогда, когда ее познает. Поняла? А ты моей еще не стала.

Варенька вспыхнула:

– А если стану и потом ты поймешь, что не любишь? Тогда что? Я аборт пойду делать, как Нюська?

– Ну зачем же аборт. Вон у меня всегда в кармане...

– Вон как! – прервала, все поняв, Варенька. – У него всегда в кармане! Вон что ему, окаянному, от меня надо! Тогда прощай! Поищи себе другую дуреху!

И рванулась было бежать, но Алешка удержал, прижал к себе. Варенька заплакала навзрыд.

Кого не трогали женские слезы! Когда женщины плачут, мужчины становятся, как пластилин, мягкими да податливыми: что хочешь, то лепи.

Алешка успокаивал Вареньку как только мог и даже поклялся ей, что любит, точно любит, сильно любит, ну просто жить без нее не может.

И говорил, что жениться на ней готов, ну хоть сейчас, до армии. И ласкал, целовал ее упругие отзывчивые груди... И, размягченная, Варенька потеряла всякое самообладание. И случилось все, чего так упорно добивался Алексей. И, раз случившись, повторялось при каждой встрече, которые были довольно-таки часты.

И всякий раз Алексей божился в любви, обещал прислать сватов... Но не слал... При новой встрече ссылался на то, что родители противятся, не хотят, чтоб женился до армии, и неизменно твердил:

– Варенька, цветочек мой, радость моя, не расстраивайся: я их обязательно уговорю.

Дома Варенька клялась себе, что при следующей встрече не позволит Алексею больше ничего такого. Но, увы, это было свыше ее сил. И потом... Она боялась его обидеть, оттолкнуть. Уходя в армию, Алексей пообещал, что будет верен ей, что обязательно женится на ней, как только вернется. А и как не верить тому, кого любишь? Известно: кого любишь, тому и веришь. Только вот кого любишь? И сначала Алешка писал, и часто писал. А потом вдруг как в воду канул. Варя писала, писала ему... Письма не возвращались, но и ответа не было.

Отец как-то сказал:

– Не унижайся, не пиши больше. Если бы его куда-то перевели, письма бы твои вернулись. Да и он из любой точки Союза может написать. Даже с Курильских островов, из Заполярья письмо уже десять раз пришло бы.

Наконец пришло. Алексей общал, что был на учениях, оби-

жался, что Варенька назвала его предателем любви. Письмо заканчивалось так:

«В конце концов ты мне не жена. Что ты требуешь от меня отчета? Вот если женюсь на тебе и изменю, вот тогда и называй меня «предателем любви». А пока я – свободный человек».

Варенька повинилась:

«Я, Алешенька, от безысходности назвала тебя так. Думала, что ты бросил меня, забыл... Прости. Я тебя люблю. Жду. Хочу быть твоей, твоей женой»... Нелегко ей было повиниться, но она переломила себя, понимая, что теряет его.

Алексей ответил нескоро. Письмо было обыденным, холодным, какие пишут просто знакомым. И Варя перестала писать – по настоянию родителей.

Мать даже сказала так:

– Хи-и-и, слава Богу, не понесла. А это – дело поправимое. Девка ты заглядная, неглупая. Выходи на пятак. Да смотри в оба. С блудниками – ни-ни. Выбирай служивого да степенного. Авось, у всех мужиков все одно. У них этого меду – до старости. Нам бы уж и не надо, а им все давай. Ты вот только, доча, до свадьбы-то не оплошай вдругорядь. А то – пропало дело. Сплетни по селу поползут – и тогда токмо уезжать кудымть в чужие края. Вон Нюська-то... небось, слыхала? На торфоразработки уехала. Ды, оно ить как? От позора, говорят, уползти можно. От себя и убежать не убежишь. Ить и там может – и даже дюже просто – то же случиться. И никому всурьез не будешь нужна. Нет веры мужикам. Все они манят: козонька, козонька, а приманят: волк тебя съешь.

И пошла Варенька на пятак. Распевала страдания, танцевала. Подходили парни, но ровесники,

неслуживые. «Нет, это не женихи», – думала Варенька и ласково отшивала, когда кто-либо из них увязывался проводить. И не раз возвращалась домой одна. И вот подошел Николай. Это он не знал ее, потому что для него, двадцатилетнего, она была еще год-два назад малявкой, ребенком. А она его знала хорошо. И помнила даже слова матери, сказанные как бы случайно еще в прошлом году:

– Вот Николай, Фили и Анюты Ярких сынок, к примеру. Работящий, не пьет, не курит. Добряк. Чем не жених? Анюта с Филей и сами жизнь тихо прожили да небедно, и дети старшие хорошо живут. Дома какие отстроили! Всем на зависть!

Варенька тогда только спросила у матери:

– А почему его Бирюком, Тютюкой кличут?

– Да тихий он, молчаливый, необщительный. Ну так что в этом худого? Где много друзей – там пьянки да гулянки.

Нет, не захлестнуло трепетом сердце Вареньки, когда подошел к ней Николай; не испытала она того томительного упоения, какое испытывала с Алешкой, и когда поцеловал ее Николай. И при каждой новой встрече она ждала чего-то, но...

И сказала матери об этом. А мать:

– Ну и что? Покуда так, потому как Алешку непутевого еще не забыла. Любить, знать, продолжаешь. Вот замуж выйдешь, ребеночка родишь и...

Варенька и не помышляла о ребенке. Она привыкла к тому, что сама была еще любимой доченькой.

– Ребеночка? Да мне еще и восемнадцати нет. Какая из меня

мать? Я и не знаю, что с ним делать, – возразила Варенька.

– И-и-и, глупая. Любишь кататься, говорят, люби и саночки возить. Я вон братца твоего старшего родила в семнадцать, а в старину и в пятнадцать замуж отдавали.

– Дурацкое дело не хитрое, – отрезала Варя.

Мать обиделась и раздраженно сказала:

– Зато позора не было, блуда. Выходили замуж чистыми. И жили. Не разводились. А то теперь ее Николай целует, а ей, видишь ли, Алешка мерещится. Да наплевал он на тебя, Алешка ентот. Там у него, в армии, уже давно новая краля виной, а вернется – пойдет блудить, попомни мое слово. Выходи замуж, покуда его нет. Не то он тебе всю судьбу сломает: так в любовницах его и закиснешь.

Явились сваты. И, с шутками-прибаутками, с частушками-песнями, слезами-причитаниями пропили Вареньку, просватали. И для нее самой неожиданно.

Жених стал смелее-увереннее, а Варенька грустнее-печальнее. И не терпелось ей понять, как это будет с ним. И решила: все равно теперь уж не откажется, испытаю. Может, и впрямь Алешку быстрее позабуду. И испытала... и все будто бы так же, да не так. Тело пылает, а душа хо-лод-на-я! Да еще он, простофиля, не готов к тому оказался. И понесла Варенька, до свадьбы понесла. Понял ли он чего? Во всяком случае, ни словечком не обмолвился. Может быть, телок, ничего и не понял? Ну а если понял да промолчал – так и за то спасибо, знать, можно уважать. А любить? Варенька сама не знала, будет ли она любить Николая.

Перед самой свадьбой Пелагея наставляла вкрадчиво-тихим, заговорщицким тоном:

– Слышь ты, Варька, зараз опосля свадьбы, как только впервой в постель с молодым мужем... ты под перинку-то подковку. Я вот тебе ее приготовила. Подковать надо молодого жеребчика...

– Для чего? – недоумевала Варя и как стеной отгораживалась от матери.

– Дурашка ты. Ни бельмеса не смыслишь, – досадовала Пелагея. – Меня мать так учила. Оберег такой. Дабы любил лишь тебя, не колобродил, не осмыгался...

– Да он и так от меня никуда не денется, – смеялась Варя. – Впервой... Попридумывают... Галимаття какая... А вот черница наша, тетка Нюрка, встретила меня... Обвенчаться, говорит, надо.

– Обвенчаться? Ого-го! – удивилась и даже будто испугалась Пелагея. – А и где же? Все церкви в околотке за двадцать верст разрушены. Да и где он, Бог? Гутарили: на облаках, на небе... А там теперича вон космонавты летают... Гагарин... Титов...

ДУСЯ

— Здравствуйте, мои золотые. Как вы тут? – с порога защебетала бабка Домашка, не дожидаясь ответа на приветствие. – Ты, Дусь, и вправду решила, видать, дом строить? Ох и трудное это дело! Страсть! Мой, царство ему небесное, и не успел обиходить дома. Кабыть, надорвался, заболел – и уж вон тридцать лет как умер. А для кого и строил, когда детей нет? Смолоду, дураки, не хотели, а потом Бог не дал. Стоя у двери, Домашка общаривала и избу, и печь, и Дусю. Взгляд ее был таким, будто она на него все нанизывала. Была она высока, сухопара, сутула.

Дуся подала ей табуретку; бабка села, распустив на полу широкую и длинную юбку. Дуся знала, коли пришла Домашка, значит, принесла какие-то новости-сплетни или мыслит что повыведать, и потому не спешила вступать в разговор, только сказала, продолжая вышивать на пяльцах:

– Курушка наша вот-вот развалится. Хочешь-не хочешь, а строить домик надо.

– Ну где Аксютка-то? Ушла, что ли, куда? – зачекотала опять

Домашка и, увидев, что Аксютка, мать Дуси, полная пожилая женщина в старенькой холщовой рубашке, медленно выдвигается из-за печи, засмеялась:

– Спала, чо-ли-ка? Ишь, рассолodelась. Ночь-то чего делать будешь? Чертей стебенить, чо ли? Ха-ха-ха! – и Домашка впилась взглядом в Аксютку, как пиявка в тело.

– Ды я ныне, кума, – грубоватым, надтреснутым голосом отвечала Аксютка, позевывая, – овечку в стадо проводила на зорьке да и села за прялку, поярковую шерсть сучила.

– А-а-а, – протянула Домашка. Но, видно, пряжа ее не интересовала, ей было важно свое, с чем она пришла. И потому перевела разговор в уже проложенное русло:

– Вот говорю: строиться-то без мужика ой как тяжело. Чего Дуська удумала. Вот, можа, замуж бы вышла. Вот тады б уж...

– Так где ж его взять, мужа-то? – нерешительно сказала Аксютка, взглянув на посуровевшую дочь. – Есть вот мужик, да ему жизнь разлюли малина: спит да гуляет. Ни в колхозе, ни в лесхозе работать не

хочет, ни дома. Жизнь его личная никак не устраивается, а мы все виноваты. Ему хучь бы хны, что хата разваливается.

– И где ж он теперича? – спросила Домашка затаенно.

– Спит вон на печи. Ночь гуляет, а день спит. Кохали-кохали – выросла орясина.

– Ох, Володька, Володька. Ждали-ждали из армии и дождалась помощничка, – вкрадчиво-примирительно, вздыхая, зашептала Домашка. – Все с этой окаянной Маруськой Дорой путается?

– Ну а с кем же еще? Давняя зазноба.

– Ох ты Боже мой! Какой искус! Ну уж и пусть женился бы! Она простоватая, вроде как, бишь, с мякушкой маленько, а работающая. И за бабу и за мужика, – еще тише зашептала Домашка.

– Да мы что, против? Пусть женится. Только тут жить негде. Наша мазанка вся с наперсток, и та вот-вот развалится, – вмешалась в разговор Дуся, проговорив нарочито громко, чтобы слышал братец, если проснулся. – А туда они его не берут. Да и он в примаки, видишь ли, не желает. Вот и крутятся уж сколько лет.

– Дык, в город подались бы, люди-то уезжают.

– Володя-то хотел, да ей в районе паспорт не дают. А без паспорта как? – горестно вздохнула Аксютка.

– Люди-то умудряются ить как-то и паспорт схлопотать, – шелестела Домашка, догадываясь: – Видать, за деньги. У людей денег – куры не клюют. Куды нам за ними, лапотникам. А у тебя, Дусь, ныне выходной?

– Да, ныне отдыхаю, – ответила Дуся, склоняясь над пальцами. Она понимала, что сейчас бабка

Домашка выдаст главное, с чем пришла.

– Ох, и горемычная ты, Дусь. День и ночь в работе. То в колхозе, на ферме, то в лесхозе. Свету белого не видишь...

– Какая она горемычная, – оборвала Домашку Аксютка. – Молодая, здоровая. Это мы с тобой горемычные, немощные.

– И то правда, – нехотя согласилась Домашка и вдруг выпалила:

– Дусь, а ты слыхала? Колька-то Яркин женится на Варюхе. Пропой намедни сделали.

– Ну а что? Давно пора ему жениться. У его ровесников уже детей по двое, – ответила Дуся тихо-сдержанно.

– Небось, сердечко-то щемит? На душе-то мокрядь?, – прошамкала Домашка беззубым ртом.

– Да что он мне, муж или любовник? Ну нравился в юности. И что теперь? – сказала Дуся твердо и осуждающе в упор взглянула на бабку: – Ты, как сорока на хвосте, новость принесла мне эту? Да?

– Ды ты, Дусь, золотце, не обижайся, не гневайся. Я что скажусь, – бабка Домашка совсем перешла на сип:

– Говорят, Варюха-то, анчутка, всю прошлую осень путалась с Алешкой Бехтеревым... по стогам, по лесам... Обесчестил, говорят, да и бросил. А она по нему сохнет, чахнет. А за Николая-то ей – лишь бы стыд прикрыть. Ох ты горе-беда! Хучь бы ему кто сказал.

– Я говорить ничего не буду. Кто я ему? – ответила Дуся дрожащим голосом.

– Эх, безглаздый Николай, безглаздый аманат, чужих грехов аманат, – как-то злорадно сокрушалась Домашка.

– Вот ты бы, баб Домаш, ему и сказала. Мол, так и так, Николай... не женись... – раздалось с печи.

– Ой, я пойду, – засуетилась бабка, вскакивая со стула и подтягивая свою длиннющую, точно хвост, юбку. – Ну чо ты, Володь, соколик мой... Эт я так, к слову. Кто теперь ныне кого слухает? Усе своим умом живут. Эт в старину, бывало... А теперь... А нас-то, стариков, и тем паче не слухают. Ды и пропади он пропадом говорить ему, дуралею этакому. Аксютушка, ты приходи ко мне, посудачим. Ну я пошла. Оставайтесь с Богом.

И стало тихо. В простенке между малюсенькими окнами тикали ходики; изредка поскрипывала, протыкая полотно и канву с изображением затейливого рисунка, игла в руках Дуся.

– Иди, сынок, поешь. Картошка молодая с квасом, квасок хмельной, вчерась отварила его, – миролюбиво обратилась к Володе мать.

– Спасибо, мамань. Хоть ты покормишь. А то сестра как теща ретивая. Куском хлеба попрекает, – прыгивая с печи и становясь под самый потолок, с иронией в голосе пробасил Владимир. Был он высокий, крепкого сложения, широк в плечах, рус, с молодецкими вразлет усами и густыми сросшимися бровями.

– И все-таки скоро я женюсь. Теперь-то уж они ее отдадут за меня! Куда им теперича деваться! Так что, мать, сегодня Марусю сватать идем.

Дуся, отложив рукоделье, неотрывно смотрела на брата. Она была красива той неброской русской красотой, в которой всегда мягкость и выразительность всех черт лица сочетаются с легкой, как вздох, таинственностью и вместе с тем открытостью.

– В положении, что ли? – догадалась Дуся.

– Да, сестра. Маруся беременна. Она все боялась сказать своим.

Но мать вчера открыла сама.

Аксютка выронила чугунок с картошкой. Он загремел, завертелся юлой, картошка раскатилась по съезжившимся, неровным половицам. Аксютка еле слышно проговорила:

– Эх, Володь, не знаешь ты этих людей. Не отдадут они Маруську за тебя. Они ее ни за кого не отдадут. Она у них домработница.

– Да не кукарекай ты, мать, наперед, – озлился Владимир. – Ныне вечером сватать идем. Только Окунь дружком будет.

– Ох, Дуся, – оторопела Аксютка, – у меня ни одеть, ни обувь... В чем пойду?

Да, мать была права: не знал Володя этих людей. Едва подошли к дому, услышали страшные крики. Маруська кричала не своим, хриплым, сорванным голосом:

– Люблю! Люблю я его! Изверги! Хоть зарежьте!

Мать вопила на пределе сил, заглушая ее:

– Безлюденные! Коровы даже не имеют! Лодыри! Не отдадим за него!

Порою их голоса сливались, а то перемежались:

– Не буду я делать...

– Не отдадим...

– Ребеночка я хочу...

– Аборт сделаешь!

– Изверги вы!

– Тебя дуры мало... еще дурака родить...

Когда Только Окунь постучал в дверь, мать Маруси затихла. Кричала теперь только Маруся, глухо, тяжело:

– Люди добрые! Помогите! Связали... связали...

Володя ринулся к дубовой двери – она была закрыта изнутри на засов. Наверное, он сбил бы дверь, но Только Окунь предостерег:

– Охолонь, Володь. Им ведь только того и надо. Они же вызовут милицию и посадят тебя. Охолонь.

Сватовство не состоялось.

Аксютка вернулась домой как в лихорадке, ее бил озноб, а ночью поднялся жар.

Владимир, и без того неразговорчивый, теперь и вовсе замолчал. Вечерами на пяточок Маруся не приходила – и днем ее увидеть он нигде не мог. Братья Маруси, встретив его около дома, пригрозили убить.

Соседка Доричей сказала, что Маруся под замком в амбаре. Вскоре прошел слух, что бабка Михалиха сделала Марусе аборт... неблагополучно... Маруся чуть не умерла. Ее, полуживую, увезли в больницу, якобы в Воронеж, где жил ее самый старший брат, юрист, которым Доричи не только гордились, но и припугнуть могли при надобности.

И без того Володя, бывало, приходил домой пьяным. Теперь он пил ежедневно, как говорят в народе, без просыпа.

– На что же он клюкает? – недоумевала Дуся. – Кто его поит?

Оказалось – никто. Хватилась Дуся – из ее сбережений на дом крадет.

Дуся обомлела, зарыдала:

– Пропил, пропил. Я сколько годов работала на ферме, а в выходные – в лесхозе, на лесопилке. За копейки. Кружева плела, вышивала, чтоб продать. Слепла аж. Голодная сама. Мать голодная, разутая, раздетая. А он, непутевый, за месяц все спустил. Вот ведь уродила мама – не примет и яма!

Страшные слова мы порою произносим. Не ведаем, что прозорим. Пропил, конечно, Володя не все. Дуся преувеличивала от

терзавшей ее душу обиды, но немало пропил.

И окончательно испортились отношения между братом и сестрой: опалил огонь вражды души их. Особенно тягостны были вечера. Аксютка просила дочь:

– Да хоть бы ты пошла куда. Вон девки на пяточке поют да пляшут, а ты сидишь монашкой. Негоже так. Разве так выйдешь замуж?

Дуся мрачно отвечала:

– Кому я нужна, гундосая да нищая. Дом разваливается, а я плясать пойду. Невесть что ты говоришь. Не пляшется мне и не поется. У моих ровесниц вон уж по трое детей.

Аксютка крестилась на икону и дрожащим голосом говорила:

– Володь, ты пошел бы на пяточок. Сколько девок...

– Да ты, мать, видать, с ума сошла, – ревел Владимир и, глухо простонав, замолкал на печи.

И только тихо-тихо тикали ходики. Поскрипывала игла в руках Дуси. И заунывно вторила им – порой – прятка.

Маруся не возвращалась, но вышел слух, что из больницы выписалась и живет у брата. И прежде чем вернулась Маруся, из райцентра нагрянули какие-то важные люди с кожаными портфелями. К Дусе их привел уполномоченный. И надо же такому случиться: Володя, полупьяный, спал на печи, свесив свои босые ноги чуть ли не до середины крошечной комнатенки.

В избе негде было повернуться. И потому старший попросил Дусю и Аксютку выйти во двор. Разговор был коротким:

– На печи спит ваш брат и сын – Степанов Владимир Михайлович?

Женщины подтвердили.

– Он пьяный?

Они, переглянувшись, подтвердили.

– Правда, что он украл у вас деньги, которые вы копите на строительство дома?

– Да, но не все... часть... немного, – испуганно подтверждала Дуся. Аксютка только кивала головой. По лицу ее текли слезы. Она и сама не могла понять, отчего так испугалась приезжих.

– Он уже более года, как пришел из армии, и до сих пор нигде не работает?

– Да.

– Значит – тунеядствует. Такой здоровенный?

– Велик телом, да мал делом, – вытирая ладонью слезы, еле выговорила Аксютка.

Второй приезжий прямо на портфеле что-то быстро записывал.

– Все подтверждается, – сказал старший уполномоченному. – Распишитесь. Все распишитесь.

Дуся, Аксютка и уполномоченный расписались.

– Что же будет-то? – дрожащим голосом спросила Аксютка.

Старший многозначительно посмотрел на уполномоченного, на Аксютку и сказал:

– Мать, кто не работает, тот не ест. Ишь, битюг какой! Мы его заставим работать. Блажь-то повышибем.

– Работать – это хорошо, – пробормотала Аксютка. – Пусть работает.

На следующий день Владимира забрали. И пропал парень. А Маруся вернулась. Опомнилась Дуся – да в район. Ни с чем и домой. Все ждали письма... Может, сам вернется? Говорят, и Маруся не раз ездила в район. Выяснилось только, что осужден за тунеядство и отправлен на принудительные работы. Куда? На какой срок? Дольше всех ждать его довелось

Марусе, но и она не дождалась.

В глиняном домишке будто гроб с покойником стоял: было горько, безрадостно. Черной кошкой пробежала беда между Дусей и Аксюткой. Мать во всем случившемся винила дочь и, более того, считала, что это она тайно подала в район заявление на брата. Но время шло, и обе тешились надеждой, что вот выйдет какой-то срок и Володя вернется. Да еще и исправится, захочет работать, как все люди.

Пришла как-то бабка Домашка, зашелестела:

– И-и-и, милые мои, хорошие, не тужите, не убивайтесь уж больно-то. Из тюрем и то возвращаются. Вернется ваш дуралей. Ишшо наплачетесь от него. Отдохните покада трошки.

И чего пришла? Какую новость принесла? И Дуся, и Аксютка молчали. И потому бабка Домашка быстро перешла к главному:

– Новость-то слышали? Николай Яркин женится. Ныне утром запись была в сельсовете, а завтрава, кажутъ, свадьба. Да ты, Дуська, золотце, не печалься. На кой ляд он тебе и нужен. Вот дом построишь – во двор к себе, в примачи, не какого-нибудь, а самого любца примешь. Вот те крест.

И начала Дуся хлопотать по строительству дома. Сходила в артель имени Чапаева, сделала заказ, оплатила по договору. Обещали прямо к подворью завезти лес и изготовить сруб дома по согласованному с Дусей чертежу. И теперь она должна была подготовить фундамент. Ездила в район: завозила цемент, щебенку; брала в колхозе лошадь – возила с берега реки песок (благо, песок рядом – домик-то Дуси смотрел прямо на реку). И страшно становилось Дусе: деньги таяли на глазах, она понимала, что

в этом году ей помимо фундамента и стен уже ничего не сделать. Значит, срубку стоять сиротиной года два, пока она еще денжат поднакопит да крышу поставит.

Пути Господни неисповедимы: завозить лес от артели начал ей Николай Яркин. Сначала общались как малознакомые, только по делу. Но вот разговорились раз. Дуся спросила осторожно:

– Ну как, Коля, живешь с молодой женой?

– Да нормально, Дусь, живу, – смутился Николай. – Как все люди. Вот к Новому году ребеночка ожидаем.

– Скороспелая какая! – вырвалось у Дуси. Она задумалась на минутку:

– Это что ж выходит, до свадьбы постарались?

– Да я ведь, Дусь, не мальчик уж, – еще больше смутился Николай.

Дуся вздохнула, насмешливо взглянула на Николая, по выразительным губам ее пробежала горькая улыбка, а лицо, обычно просветленное, словно тенью покрылось:

– Ребенок, Коленька, ты, как есть ребенок.

– Почему?

– Да так уж, – уклончиво ответила Дуся.

В ее памяти в мгновение ока пронеслось увиденное прошлой осенью. Дуся грибы собирала в молодом солнечном березняке. Склоняясь, резала крепенькие подберезовички да тихо мурлыкала какую-то песенку. И вдруг совсем рядом услышала стоны. Голову-то подняла: Варька с Алешкой... в траве... на его голой спине ее трепещущие руки... От испуга и стыда Дуся и корзину с грибами забыла там. Уж на следующий день ходила за ней.

Нет, ни одной живой душе Дуся о том не сказала. Не могла сказать теперь и Николаю.

– Ты прости меня, Дусь, за прошлое, – истолковывая значение слов Дуси, вероятно, по-своему, растерянно сказал Николай.

– Ни в чем ты передо мной не виноват. Подумаешь, поцеловались несколько раз.

– Просто, Дусь, с моей стороны было подло так. Ну не любя. Хотелось отомстить, что ли, Люде. Она тогда начала встречаться с Иваном. Ну я и пошел с тобой. Да я и не целовался до тебя ни с кем.

– Да при чем тут поцелуи твой? Я тебя полюбила, Коленька, еще до поцелуев и до встреч. В армию ушел – ждала писем. Но скоро поняла, почему ты меня пошел провожать тогда. Кстати, Люда с Иваном разошлись.

– Да ты что?

– А ты и не знал?

– Не знал.

– Дочка у нее растет. Работает она в ателье, в Липецке. Я у нее в прошлом году гостевала два дня.

– А я и не знал, – повторил Николай как-то виновато.

– Да не горюй ты по ней. Счастлив бы ты с нею тоже не был. Все-то у нее просто и позволительно.

– Это как?

– Так, Коленька, так. Говорят, заблудишься когда в лесу, ходишь, ходишь, да и на то же место опять выходишь. Так и ты. С какой дорожки до армии свернул, на ту же теперь и вышел. Ну, значит, судьба такая. Ладно, заговорились. Всего тебе доброго. Пошла я.

Оглянувшись, Дуся видит, что Николай по-прежнему стоит у открытой кабины «ЗИЛа» и смотрит ей вслед, щурясь на солнце и смущенно улыбаясь. И солнечные лучи, отражаясь от ясной бляхи его солдатского ремня, спят глаза Дуси.

Зимой лес из-за реки Николай завозил не через мост, который находился в соседнем селе, за три километра от их завода, а напрямую, по льду. Обычно каждую зиму там, где проходила дорога, лед наращивали, выливая из прорубей несчетное количество ведер воды на поверхность.

В этот год зима установилась морозная; река стала в одни сутки; морозы крепчали, да с ветром, и потому укреплять лед не стали.

И скоро машины пошли напрямиком по льду. Но вот случилась оттепель, и лед, видно, ослабел, его еще, вероятно, снизу быстрым течением подмыло...

В этот день, к вечеру, Николай вез четыре тяжелых бревна на балки да десять стропил Дусе для крыши. Сам придирчиво отбирал их на делянке лесхоза, как если бы для себя: чем чаще теперь в силу необходимости он встречался с Дусей, тем больше проникался к ней уважением и даже братской симпатией. «Ведь это же надо девке взвалить на себя стройку. Такое и мужику не каждому под силу», — думал Николай, спеша выехать из леса до сумерек, начинающих уже быстро сгущаться, хотя солнце еще и выплескивало изредка из-за горизонта блики багряного света.

По обе стороны от дороги обнаженный лес, а вот справа — гнилая одинокая сосна; низко-низко склонила ветви свои под тяжестью снежных бурунов, въевшихся в зеленые, живые иглы. «Как Дуся одинокая», — невольно думает Николай. А рядом с утомленной снегом сосной кряжистый, безразличный дуб — и на нем вороны, с привычным своим «кар-кар». «И эти, черти, тут как тут», — с раз-

дражением думает Николай. Он не любил этих нахально-настырных птиц, сующих свой нос во все чужое. Ему казалось, что, где вороны, там всегда несчастье.

Перед самой машиной, жуликовато взмахнув бурым хвостом, блудливо озираясь по сторонам, пересекает дорогу лисица. Медленно ползут лиловые тени деревьев, сливаясь с поземкой и неожиданно взывавшей метелью в причудливые страшилища с кроважидными глазами: то солнце стекает последними багряными каплями в лоно пурги...

«Переметет дорогу — застрянешь», — думает Николай и прибавляет газу. Нет, он нигде не забуксовал, даже на открытой местности, на прибрежных лугах. Благополучно миновал и лошину, спрятавшую в сугробах снега отголосок реки — залив. Но едва въехал на речку, как услышал треск льда. И прибавил газу. Машина с тяжелым гулом неслась по реке, а лед продолжал трещать. «Только бы миновать середину. Самую глубину», — пронеслась мысль. И все, что только мог, выжал из машины. И распахнул кабину на всякий случай. Вот уж и середину реки проскочил. И вдруг почувствовал, что под задними колесами ухнуло, машина вздрогнула, сотряслась и стала стремительно проседать, не продвигаясь вперед, а, напротив, отодвигаясь назад. Николай машинально выжал сцепление и выключил зажигание — черная клокочущая вода была уже вровень с кабиной, когда он прыгнул. Не ощутив еще холода воды, почувствовал, что его потянуло следом за погружающейся машиной. Крутануло в бешеном водовороте. Удержал на

поверхности, вероятно, не успевший намочить полушубок. Беспомощно барахтаясь, оказался у края пролома. Ухватился за выступ льда. Но сильное течение потянуло его ноги под лед...

С берега какой-то знакомый голос что-то надрывно кричал.

Из последних сил удерживаясь за выступ льда и ощущая, как промокает и тяжелеет полушубок, Николай увидел, что на него надвигается бревно, всплывшее с затонувшего кузова. Еще мгновение – и оно просто затолкнет его под лед. «Николай Угодник, миленький, помоги!» – то ли подумал, то ли выкрикнул Николай и сам не осознал (и не помнил потом), как сумел ухватиться обеими руками за бревно и сцепить пальцы рук замком над ним. И замер. И только теперь ощутил ледяной холод и понял, что надо столкнуться с ног тяжеленные, тянущие вниз валенки, что полушубка ни за что не снять, а в нем не вылезти.

И по мере того, как цепенело все его тело, застывало сердце и все сильнее содрогалось что-то там, где сходятся на груди ключицы, Николай терял ощущение всякой реальности...

Какой-то черный силуэт метался почти над самой его головой, совал что-то к его рукам, сомкнутым на бревне, и глухо кричал...

Это была Дуся, это она на берегу ждала его машину с лесом. Это она кричала, призывая людей на помощь. И сама первой кинулась спасать Николая. Но ничего теперь не могла сделать одна, пока не подоспели люди. Николай слышал голоса над ним:

– Дядь Мить, дядь Мить, ты багром под тулуп. Цепляй под тулуп.

– Дусь, Дусь, под мышку ему

слегу-то! Сама-то не осмыгнись! Ох ты, Боже мой!

– Ой, дядя Степа, с лестницей...

– Ты, Степан, лестницу во дно упирай, во дно...

– Коля! Коля! Держись за слегу! На лестницу переступай! Сюда! Сюда! Держись крепче!

И Николай невероятным усилием воли (руки и ноги не слушались его) делал то, что приказывали ему эти люди, ползающие во тьме около полыньи. И когда ступил на лестницу и, оторвав с великим трудом руки от бревна, вцепился в шест, ощутил, что кто-то тянет его вверх за ворот полушубка, а кто-то багром за полу.

Наконец вылез, изможденный, и распластался на льду.

– Не ложись! Морозыка какой! – кричала Дуся и пыталась поднять его.

Кто-то, матерясь, долго и безуспешно пытался расстегнуть набрякший водой тулуп и, поняв, что не сможет, сволок через голову и заорал так, что, верно, и мертвого поднял бы:

– Встань! Встань! Бегом! Айда до дому!

А Дуся тянула его за руку, пытаясь поднять и, рыдая, твердила:

– Николай Угодничек, миленький, помоги...Николай Угодничек...

И Николай поднялся, готовый опять упасть, как тяжелораненный в обе ноги, ощущая в ступнях режущую боль, и побежал. Ноги были словно деревянными и не слушались его. В висках ухало, как кузнечными молотами по наковальне. Под ним то и дело проваливался снег, и, может быть, потому все качалось и мутилось перед глазами: и бегущие рядом люди, и снежная сугемень, и слабый свет

из окон изб, мелькавший впереди и убегающий почему-то от него...

Он бежал на самый ближний, как казалось ему, на самый яркий свет. И все бежали за ним. Вот уж калитка, знакомая даже будто, и то ли домик, то ли сараюшко. Только в избе понял, что он у Дуси. Как сквозь сон, услышал мужские голоса:

– Раздеваем его!

– Заледенела одежда!

– Рви! Срывай!

– Быстрее в постель.

– Аксютка, трусишки какие-нибудь там Володькины дай.

– Евдокия! Самогон... первяк... давай.

На какое-то время сознание Николая покрыла черная пелена. И уже в постели он очнулся от того, что кто-то тряс его за голову, шлепал по щекам, вновь услышал:

– Синий уж весь! Только ступни ног красные.

– Пей вот, Коля, весь стакан пей!

– Руки, руки белые, обморозил!

– Митрий, руки самогоном растирай!

Короткими, резкими глотками Николай, задыхаясь,пил самогон...

Кто-то мял его руки, поливал самогоном, тер, аж сердце заходило...

Как гусеничный трактор, по всему телу катились сильные мужские руки, доставляя нестерпимую боль и тем самым обостряя затуманенное сознание...

Где-то рядом всхлипывала тетка Аксютка:

– Господи! Помоги! Пресвятая Богородица...

А дядя Степан уже подтрунивал над Дусей:

– Да подойди поближе! Ишь ты, господи! Дотронуться до му-

жика боится. Руки растирай, руки... Видишь? Краснеют. Грудь теперь, грудь. А я уж ноги... Митрий-то куда девался? А?

Дуся плескала на ладошку из бутылки самогон, быстрыми движениями растирала то руки, то грудь, то живот Николая. «Ну какой из нее массажист?» Но от ее рук у Николая вдруг по всему телу побежали блаженно-сладкие мурашки, и сердце зашлось дрожью. Горячая судорожная боль, волнами прокатываясь по всему телу, рвала, казалось, сердце на части. Николай с трудом сдерживался, чтобы не застонать. И только изредка скрипел зубами.

– Саднить стало? – догадался дядя Степан.

– Весь огнем горю, – несвязно выдавил Николай.

– Оживаешь, – с явным довольством проговорил дядя Степан и уже сочувственно добавил:

– Терпи, казак. Главное – жив. И руки, как раки вареные, но живые.

– Терпи, Колюшка, терпи, милый, – шептала Дуся, – терпи, мой хороший.

И, несмотря на мучительную боль, мелькнула мысль у Николая: «А Варя меня ни разу милым не назвала».

Отворилась дверь. Тяжело дыша, оглядываясь, медленно протиснулся в нее дядя Митя с какими-то свертками в руках.

– Избу выстудишь. Дверь быстрее закрывай, кум, – недовольно буркнула Аксютка.

– А ты печурку-то растопи. Не жадничай. Рядом с лесом, авось, живешь. – огрызнулся Митрий.

– А то быт-то, – скороговоркой возразила Аксютка. – Теперича за сухую палку засудят.

– Мам, растопи, растопи, – попросила Дуся.

– Да я с дорогой душой. Ить сама и не сообразила. Как оцепенела вся. Шутка, что ли.

Аксютка захлопотала у плиты.

– Что ты там приволок, Митрий? – спросил Степан, продолжая растирать Николая уже медленнее и спокойнее.

– Полушубок, штаны стеганные, валенки...

– Для чего? Ты никак Николая домой провожать собрался?

– А как же? Домой. Не ночевать же у Дуськи. А то Варенька потом задаст жару. Мал язык, а зла творит много. А у баб он и вовсе помело...

– Ну нет, – отрезал Степан, – домой далеко. До утра ему быть туточки. Мать, Анютку, надо сюда... Так мол и так... А Варенька.. Что Варенька? Умная коли – не заревнует. Иль нехай сама приходит.

– Нельзя ей, – с трудом разжал челюсти Николай. – Родить вот-вот.

– Живой! – воскликнула Дуся и в порыве радости дважды поцеловала вспухшую ладонь Николая. Николай ощутил на руке ее горячие слезы.

«Любит, по-прежнему любит», – подумал он с грустью, и ему захотелось вдруг погладить ее по склоненной над ним голове, однако он не посмел.

Но окончательно возвратившееся сознание как прожектором осветило случившееся, и потому он спросил:

– Что с машиной, дядя Степан? Вдруг под лед смоеет...

– Сбегал я к реке. Поглядел, – ответил за Степана Митрий. – Стоит, как и была. Кабина на вершок из воды торчит. Не горюй. Утро вечера мудренее. Завтра лед обрубят да и вытащат тракторами.

– А лес? – опять спросил Николай.

– Куда ему деться? Всплыл весь. А если какое бревно под воду и уйдет, довезешь потом Евдокии на хату. Это уж издержки завода. Она-то тут при чем? – усаживаясь на лавку у стола, словоохотливо ответил Митрий и, хитро сощурился глаза, почесывая с редкой проседью бородку, интригуяще произнес:

– Вот-вот Варенька прилетит. Я ить сноху свою к вам, Николай, послал...

– Не придет она. Нельзя ей. Родить скоро, – тихо ответил Николай.

– Эт чего ж так? Не придет. Коли любит – прибежит. Да ить бабы в старину и в поле рожали. Моя вон – до последнего денечка, бывало, уся в делах-заботах. А эт... Чего тут? Полчасу ходьбы. А и когда срок?

Николай помолчал и нехотя ответил:

– Ды она говорит: через две или через три недели.

– У-у-у-и-и-и, – присвистнули Степан и Митрий почти одновременно.

– Да ить на ей ишшо пахать можно, – съязвил дядя Митрий.

Варенька не пришла. Со слезами и причитаниями вошла сначала мать Николая, задохнувшаяся от волнения и быстрой ходьбы. Зипун нараспашку, шаль сбилась на одно плечо. А за нею – отец. Степан сразу засуетился:

– Ну... в избе и так не повернуться... Ну... ты, Анюта, не плачь. Опоздала плакать-то. Все позади. Жив твой Николай. Вон Дуська его двумя руками из воды тащила, а мы с Митрием маленько пособили. Ну, пора, Митрий, домой нам с тобой...

Митрий встал с лавки:

– Да, домой, оно, конечно... сдали с рук на руки. Теперича с

Филиппа магарыч. Ды вон, одежку я ему принес. Потом вернете. Я смотрю: вы-то впопыхах ничего и не взяли.

– Спасибо, спасибо, – благодарил Филипп. – Вернем потом. Вернем.

Анюта подошла к Николаю, присела на освобожденную Степаном табуретку:

– Ну что, сынок, как ты?

– Да не плачь ты, мам. Спасибо вот... Спасли люди добрые.

Потоптавшись перед выходом. Митрий все же уколол:

– А и где ж Варенька-то?

И долго этот вопрос висел в воздухе.

Наконец Филипп, вздохнув, ответил:

– Мы ей не сказали. К чему стращать? На сносях ить.

А Анюта, как бы испугавшись какого нового подвоха, стала благодарить мужиков, кланяясь им в пояс и приглашая в гости в любое время дня и ночи.

Выходя за дверь, Степан степенно сказал:

– Это их дело, Митрий, они сами и разберутся. А у нас с тобой своих забот полон рот. Авось, в каждой избушке свои горяшки.

Когда мужики ушли, Филипп спросил сына:

– Может, я кобылку схожу запрягу да и домой? А? Чего людей стеснять?

– Да, да, сынок, лишний повод для пересудов... чай, девка в домето, – подхватила и Анюта.

– Да вы что? Тетка Анютка? Да он еле живой... видели бы вы! В ледяной воде чуть ли не час, – обиженно и горячо возразила Дуся.

– Нет-нет... куда такого? Я вот и плитку протопила... До завтра уж... А чтобы лишних разговоров там всяких... да чтоб Варя, упаси

Бог, чего – ты уж, Анют, оставайся сама до утра с ним.

А на следующий день, оставшись с мужем наедине, Варенька потешалась:

– Ха-ха-ха, заночевал, у за-летки давней на перинке пуховой. Говорят, ты с ней до армии-то любился. Вспомнилось старое. Да?

Николая поразило: жена с такой легкостью восприняла все, что ему пришлось пережить, будто он ножки в ручье промочил, а не в реке в мороз тонул. Как ножом резануло: «любился».

Но он подумал: «Не буду ничего говорить. Небось, от людей узнает. И поймет, что я едва жив остался. А Дуся... эх, Дуся... Кандычка... да эта Кандычка сто сот стоит».

Варя же, видя, что муж отмалчивается, старалась найти какую-то нить разговора, чтобы его урезонить:

– Говорят, Коль, теперь из зарплаты твоей будут высчитывать, за то что машину с лесом потопил? Да?

– Кто говорит? – недоуменно спросил Николай.

– Кто-кто? Люди. Соседка, например, Дашка.

– А, смутьянка эта, – нервно засмеялся Николай. – А я думал, директор или хотя бы старший бухгалтер.

И Николай опять замолчал. И весь сжался. Его молчание, по-видимому, только сильнее разозлило Вареньку. Задыхаясь, она как кипятком плескала:

– Ребенок родится – коляску нужно, кроватку... Люди заранее все покупают, а ты все на потом... У самой, располнела, нечего надеть. Ни одной вещи путной. На люди нос не покажешь. А он

денежки получает и все своей маменьке отдает. Жди, когда его маменька даст. Да у нее рубля ломаного не выпросишь... снега зимой не даст...

Николай с трудом поднялся с кровати, подошел к жене, обнял:

– Успокойся. Все у тебя будет. И у малыша. Не хуже людей. А сам подумал: «Не к месту и не вовремя как она. Как топором рубит по живому».

Понурым теперь ходил Николай, но все, даже родители, считали, что это из-за случившегося на реке. Ничего, оттает душой, мол. Встретился как-то невзначай Николай с бабушкой Никишей.

– Ну, Колюшка, как живешь с молодой женой? – спросил дед шутливо. – Истек ваш месяц медовый илича продолжается?

– Да я и не знаю, дедунь, был ли он, – серьезно ответил Николай, глядя своими чистыми, но потускневшими глазами на деда и ожидая каких-то особых слов, которые помогли бы жизнь осмыслить.

– А что так? – погасив свою напускную веселость, спросил дед серьезно.

– Да вроде бы ей и придраться не к чему. Все так. А все не так ей. Холодная и недовольная. А почему – и понять не могу.

– Может, не люб ты ей? – опять спросил дед.

– Может, и не люб, – склонил свой солнечный чуб Николай, и взор его вовсе погас.

Дед беспокойно потоптался на месте, пригладил усы дрожащей ладонью и, задумчиво разглядывая внука, сказал:

– В старые времена знали одну истину... Теперича об этом запамя-

товали... пренебрегли... вообразили, что умнее всех предков своих... как же – в институтах учатся. Ан нет... Не умнее... А глупее стали... потому и разор...

– Какую же истину, дедунь?

– Э-э-э-э. Женщина должна знать одного мужчину. Тогда он ей люб будет. Ить, бывало, со сватывали часто молодых, когда они друг о друге и сном-духом не помышляли. И жили. И дружно жили. Дело усе в том, что женщина в своем теле хранит невольно память о первом мужчине, как копилка деньги. Каким бы этот мужик ни был. Этот первый для нее навсегда будет в памяти, истым будет. И ничегошеньки тут не поделаешь. Усе всеу буде. Так природа женская устроена. А ныне чо? До замужества нагрешат, а потом муж нехорош. Хоть муж и ражий, хоть и женолюб. И целует не так, и ласкает, бедолага... не так... все не так... И-и-и, а дело-то и не в муже.

Николай не посмел ничего больше спрашивать у деда, а дед Никиша не счел нужным больше наставлять внука, только протянул руку:

– Ну, будь здоров, внучок. Не вешай носа. У Бога всего много. Жизнь, она крепко учит всех, ой как крепко. Жизнь, Колюш, она у всех идет не как хочется, а как может, не по мыслям нашим, а по делам.

Не изменил дед Никиша ничего в жизни Николая. Но после встречи с дедом у Николая появилась уверенность в себе, которую он было начал утрачивать.

Вся жизнь ее с Николаем разделилась на два этапа: до Дуси и после Дуси. До Дуси (до ночи, проведенной у нее) Николай был ласковым, внимательным и даже иногда словоохотливым. Он, как и теперь, часто не понимал ее. Но тогда он терпеливо выслушивал ее, а потом мягко старался доказать ту или иную правоту свою, неизменно заканчивая словами: «Ребенок ты у меня еще, Варенька. Поживешь – поймешь», – и целовал, даже когда она уклонялась. Теперь, когда опять же не понимал ее (в чем Варенька была уверена), он ни о чем не спрашивал и ничего не доказывал, просто замыкался.

Варенька недоумевала и раздражалась: «Что же с ним произошло? Что там в ту ночь было? Но ведь там свекровка была. Уж эта мне свекровка. Больная любовь. Лучше ее Колюшеньки на свете людей нет. Тюфяк. И поцеловать как следует не умеет».

Из зарплаты Николая ничего не вычли. Из районного роддома с Ванюшкой он забирал ее на своем «ЗИЛу». Оказалось, и кроватку, и коляску еще до выписки купил. А ей у спекулянтов (в магазинах такого не купишь) два отреза на платье, красивых, трикотинных, модных, и пальтишко демисезонное, легкое, из буклированного джерси.

– Откуда ты денег-то столько взял? – удивилась тогда Варя.

– Мать дала, – отвечал Николай. Ты, Варенька, присмотришься к ней. Она не скарденная.

И когда Николай принес очередную получку и по привычке стал отдавать деньги матери, свекровка сказала с улыбкой, глядя на нее:

– У тебя теперь своя семья. Вон и ребенок уж. Отдавай денежки жене. Пусть учится хозяйничать.

Нет, свекровь ни до родов, ни теперь не будила ее, не обременяла хозяйством. Наоборот, когда Варя бралась за какую-нибудь работу, свекровь говорила: «Да я б сама сделала... Успеешь еще... Наша бабья доля такая: с утра до ночи хлопчешь, а сделанного не видно. То ли мужицкие дела! Вон срубили баню – и на всю жизнь». Но была довольна, когда Варя помогала.

Дни были похожи один на другой, серые, холодные, короткие. И заботы такие же однообразные: агуканье с Ванюшкой, кормежка, постирушки...

Искренне радовалась Варя: Ванюшку все так любили, просто души в нем не чаяли. И муж, и свекровь, и даже суровый свекор. Но неуютно было Вале в этом просторном и светлом доме, где у них с Николаем и малышом была своя комната в два окна. Как-то все не так. Однообразные дневные заботы порою раздражали ее. И тогда только сильнее она ожидала ночи, близости с мужем. И каждый раз словно испытывала его на прочность. И досадовала, что не может позлорадствовать над ним. И постепенно в ней в одно целое слились противоречивые ощущения: сладостное, до дрожи, желание с раздражением, восторг близости со скрытой злостью. Иногда в такие моменты она мучительно-сладостно мыслила: «И почему ты не Алешка?» А то рвалось наружу раздражение: «Ох и надоел, Бирюк сиволапый!»

Забегала как-то ее мать (она часто проведовала дочку с внучком), привычно спросила:

– Ну как ты тут? Приобвыкла?

А Варя ей:

– Все хорошо. Да только был бы Коля Алешкой.

Пелагея посмотрела на дочь настороженно:

– На кой ляд? Слабоват, чо ли, Николай?

Варя аж зарделась вся:

– Да ты что, мам!

– Так чего ж не так? – сощурилась Пелагея, что было признаком ее раздражения.

– И сама не знаю, – смутилась Варя. – Наверное, я...

Но Пелагея прервала:

– Стерпишься – слюбишься. А Алешку из головы выкинь. И побыстрее. Мой тебе совет. Говорят, досрочно из армии приходит. Потому как ранен был. В госпитале лежал. Мать его хвастает людям, что Алешка ее шпиона або диверсанта задержал. Не знаю, так ли...

– Досрочно? – только и вымолвила Варя. В груди, под самой ложечкой, защемило, и стало жарко.

– Я тебе, доча, с умыслом гута-рю заранее, чтоб готова была к искушениям. Смотри. Не то все потеряешь... Не след тебе и видеться с ним.

Алешка пришел в мае, действительно досрочно. Люди говорили, что ходит он с костылем, сильно хромает, что на гимнастерке то ли медаль, то ли орден, что возмужал, в плечах еще сильнее раздался – прямо-таки воевода. Варенька стала реже выходить из дома.

Когда свекровь предлагала: «Варенька, ты бы в магазин за продуктами сходила, заодно и развеялась. А то все дом да дом», – Варя смиренно отвечала ей: «Мамаш, я уж лучше дома дела какие поде-лаю. Сходи сама». А дел весной невпроворот. Вестимо, день год кормит.

Но рано или поздно...

Летом Алешку назначили зав-током. Снабдили конем с бричкой. «Стал он важный да деловой: хлеб в его руках, – поговаривали люди. – Нос задрал выше крыш. Медальки-то своей так и не снимает».

«Завидуют», – думала Варенька, когда слышала подобное.

В страду рабочих рук всегда не хватает. Пришла бригадирша, молодая, проворная; говорит, как из пулемета строчит, не дает и слова вставить:

– Тетка Анютка, до каких пор будешь под юбкой сноху держать? На работу когда пойдет? Другие родят – глядишь, уже на работе. А эт... Ванюшке-то, небось, уж скоро год. При Сталине вон за тунеядство ссылали... Запарка у нас... Ну хоть на полдня...

– Ладно, выйдет. Раз уж запарка, – миролюбиво сказала Анюта. – Но ты, власть, вот что мне скажи. Правда, что ли, будто колхоз укрупнять собрались? И из нашего села заберут и коровок, и телят, и свиноферму, и птичник?

– Да, так, – осеклась сразу только что тараторившая бригадирша.

– А как же мы жить-то будем?

– Да чего тебе надо-то, тетка Анютка? Ты уж на пенсии, – попыталась отшутиться бригадирша.

– А ты не зубоскальничай. Мне-то ничего. А вот вам, молодым, надо. Чем жить будете, когда негде работать будет? В город все подадитесь?

– Я-то что, – сникла бригадирша. – Я человек маленький.

– Так ты ж партейная, – не унималась Анютка. – В Москву пишите, в ЦК. Какого рожна молчите? Это ж разорение сел. Это ж крах всей жизни. А вам всем хучь бы хны. Гы-гы да га-га, будто ничего и не случилось.

– Кто мое письмо там читать будет? – опустила бригадирша голову. – Эх, тетка Анютка, тебя бы ходоком в Москву. Ну я пойду. Варь, а ты уж выходи на работу-то.

На пороге бригадирша повернулась, сказала:

– Эх, тетка Анютка, делаем, как сверху скажут. А мы слова никакого не имеем.

И Варя вышла. По воле бригадирши, с которой, как она потом услышала от людей, снюхался Алешка, она попала именно на ток. Ну что делать?! Куда поставят!

Он – весь в делах: ходит, распоряжается, указывает. С кем шутит, а на кого и покрикивает.

Работающая на веялке рядом с Варей соседка Дашка брезгливо говорит: «Ишь, щенок облезлый. А быстро в раж вошел. Насобачился. Из грязи да в князи».

Варе это обидно слышать, но она молчит, думает:

«Тебе, Дашка, такой мужик и во сне, небось, не снился. Вот ты и бесишься».

И невольно встречается взглядом с Алешкой. Он смотрит на нее насмешливо-испытующе, долгим, притягательным взглядом; чуть подрагивают ноздри, на щеках ярче загорается румянец.

Варя отводит взгляд. «Какого рожна уставился? Поздно теперь глазеть», – недовольно думает она.

На третий день работы, утром, подходя к веялке, Варя услышала, как Алешка сказал Дашке, стоящей перед ним в позе самодовольной гулящей девки:

– Озолочу. Вон хлеба сколько. А трекнешь языком – берегись.

Увидев Варю, Алешка обыденно поздоровался с ней и отошел.

– За что это он тебя озолотить собирается? – спросила Варя Дашку.

– Известно за что. Что молодому бугаю нужно? – игриво ответила Дашка. – Натерпелся – вот и прет его во все тяжкие.

Приступая к работе, Варя ревниво-озлобленно думала: «Пошел собирать заваль всякую. Не зря мать говорила...»

А после работы, когда все начали расходиться, Дашка подошла к Варе и вкрадчиво сказала:

– Ты, Варюх, не суди строго. Я ить без мужика живу, а хозяйство... Ну, вот я и договорилась с Алешкой. Мне мешочков пять-шесть зерна для курочек и гусей... Помоги насыпать.

– Где? – спросила Варя, не чувствуя подвоха.

– А там, у элеватора, в амбарах.

– А почему не тут? Какая разница?

– Наглядно тут больно. А там ни души.

В амбаре их ждал Алексей. Варе стало не по себе. Но она не успела ни на что решиться, как Дашка выскользнула за дверь, а Алешка тут же ее закрыл. И стало почти совсем темно. И душно. Варя вся дрожала и еле слышно говорила:

– Не смей... Я сейчас закричу...

А он почти срывал с нее легкую одежду и целовал бешено, остервенело.

И потом она лежала на пшенице и, глядя в темный потолок, думала:

«Узнают муж, свекровь. Все пропало», – и, кажется, даже сказала это вслух, потому что услышала голос Алексея:

– В ногах никто не стоял. А наговоришь на человека можно что угодно. Ты что, дура? Сознаться будешь? А Дашка, купленная она, не выдаст.

Возвращалась домой вместе с Дашкой и униженно просила никому не говорить, клялась, что больше этого не повторится.

А Дашка, довольная, торжествующая какая-то, глумилась:

– Гы-гы, долго вы беседовали-то. Страсть. Аж на улице слышать было. Думала, и не дождусь. Вот жеребец-то стоялый. Я, грешница, страх люблю таких. Хотела уж без тебя домой... Да ты не бойся, не выдам. Понимаю: любовь. Муж-то у тебя тюх-матюх, лапоть, а свекровка-то лихая. Чересчур праведная.

Дома у Вари все валилось из рук. Она сослалась на головную боль и ушла с малышом с свою комнату.

Николай, оповещенный, видимо, матерью о болезни жены, был предупредителен и, конечно же, ничего не понял.

Два дня Варя не ходила на работу, а потом попросилась на скирдовку соломы, сославшись на то, что у веялки слишком пыльно. Свекровка поддержала ее...

Но, говорят, легко себя потерять. А вот найти... На это порою уходит вся жизнь.

Алексей, как рыщущий изголодавшийся волк, шел направо-налево. И вот они встретились.

Уже вечерняя заря разбрасывала кроваво-сумеречные блики по их обессиленным телам, когда они наконец решили расстаться.

– Я уйду от мужа, – дрожащим голосом проговорила Варенька.

Алексей молчал, глядя в еще озаренный светом небосвод.

– Что я сегодня скажу, когда приду так поздно?

– Я не знаю, что ты скажешь. Когда ты шла замуж, ты думала?

– Я уйду от мужа, – повторила Варенька неуверенно. – Ты женишься на мне?

Алексей долго молчал. Потом сказал, легонечко зевнув:

– Я не хочу воспитывать чужого ребенка. У меня своих будет, сколько захочу.

– Говорят, с бригадиршей крутишь?

– А чего я, не мужик, что ли? – самодовольно ответил Алексей.

Варя молча встала, поправила одежду и напрямик, без опаски, пошла к деревне по колхозному саду, утонувшему в багряно-лиловых отсветах вечерней зари.

Свекровка встретила Варю вся в себе, как в воду опущенная. Не поднимая на нее глаз, сказала:

– И где тебя черти носят? Прости Господи. Ждала-ждала... Ванюшка ревет... думаю, вот-вот придешь, а тебя все нету... ну сварила опять манную кашу да и накормила. Уснул он. Не буди. Грудь-то, небось, расперло. Так ить и молоко перегорит. Сцеди грудь-то, что ль...

Походила в какой-то растерянности по кухне, поставила на стол миску с кулешом, жареную картошку:

– Садись ешь вот.

Опять походила, подбоченься и болезненно ссутулившись:

– Яичницу, что ли, пожарить?

– Не надо, мамаш, – ответила Варя тихо-тихо и села за стол. Есть не хотелось. Варя исподволь поглядывала на озадаченную чем-то свекровку:

«Что это она сегодня такая? Аль и вправду: у лихой свекровки и на затылке глаза? Пронюхала что-нибудь?»

Спросила:

– А где мужики?

Свекровка тяжело вздохнула и, делая частые паузы, с придыханием, будто воздуха не хватало ей, как выброшенной на берег рыбе, сказала:

– К вечеру уже... Николай с работы пришел когда... ушли на дальние луга сено косить и пока вот нет. И хорошо, что задержались... Оно ведь, Варя, в жизни-то как? Бывает, человек идет, а молва впереди бежит.

Свекровь выжидательно смотрела на Варю. Но Варя молчала.

– Расскажу я тебе, сношенька, вот о своей молодости. Росла я бойкой да хваткой. На любую работу спорой. А уж красавица-то была не хуже тебя. Но жили бедно, я старшая. Отец с матерью и не против бы меня замуж отдать, от лишнего рта избавиться: помимо меня – еще девятеро у них... А влюбился в меня Степан Подгорный, который зимой Колюшку из проруби-то вынимал. Уж так влюбился. Думаю, и до сих пор любит. Из-за этой любви, видать, его жизнь-то и не сложилась потом. Долго не женился – да и женился, знаешь небось, неудачно. Ну да ладно, не о том речь. Мои родители скрепя сердце – уж больно бедный он был – отдали бы меня за Степана. Отцу моему он нравился: работающий, степенный. А я в нем души не чаяла. Но его родители ни в какую сватать меня не хотели. Им, видишь ли, была нужна богатая невеста. Тут с Гражданской пришел – в буденовке! – Филипп. Увидел меня. Женой, говорит, моей будешь. Крокодилом его дразнили, свекра-то твоего. Бывало, гляну – и впрямь крокодил. Так и выдали за Филиппа. И попала я в рабыни: свекровь больная, деверь увечный... с войны... психопат, царствие ему небесное. Вся работа по хозяйству, на огороде и в поле на меня легла. Потому я тебя вот теперь и жалею... Как вспомню, что сама-то вынесла... Ну да не о том речь... Уж старший сынок был

у меня, года полтора ему было. В лугах и оказались со Степаном в ночном один на один. Эт надо ж как нечистый сводит? А?...

Варя, потупив голову, молча сидела за столом, не смея пошевелиться.

– Да ты ешь, ешь, – продолжала свекровь.

– Так вот, приехали-то сторожить копны со свекром. А он – работяга был! – взялся копны поправлять... упал с копны да и выбил ключицу. Ну, знать, тому быть. Я его на подводу, да и проводила одного домой. Только потом узнала, что напарником-то моим от другого звена Степан. Ох ты Боже мой! Пресвятая Богородица, думаю, огради от греха. Степан еще холостым был. Эх, Варя, Варя. Он на колени передо мной становился... И силой пытал... Говорил: я тебя и с ребенком возьму. Вот она, любовь-то окаянная. А я ему одно: надо было брать, когда девкой была. А теперича не тронь – я замужняя женщина. А ведь не любила я Филиппа, не любила. Мало, Варенька, браков по любви-то большой. Беречь надо и то, что имеешь. А то: близок локоток, да не укусишь. И потом... разная она, любовь-то, бывает. Один любит – и все для любимого, а другой – тоже любит! – а все для себя. Поэтому и там, где по любви, не всегда счастье: кому веселье, а кому слезы. Мало счастливых браков, мало.

Противоречивые чувства и мысли вскипали в Вареньке, пока она слушала свекровь:

«Кто же ей донес? Дашка? Или кто-то сегодня уже нас видел? Ишь, а сама-то, сама-то... Говорит, что устояла. Да уж, дядя Степан и теперь орел. А тогда... Представляю, как она устояла...»

И кипело раздражение: глаза Вареньки суживались, вся она сжималась и походила на рысь, готовую к прыжку. А то вдруг, особенно при последних словах свекрови, Вареньке нестерпимо захотелось повиниться, заплакать. Но удержала мысль:

«Да что она, мать мне, что ли? Ну уж нет. Посмотрим, что она напоеет Николаю»

И Варя, не сказав ни слова, ушла спать: будь что будет. И не вышла из комнаты, когда в избу ввалились с шумом-хохотом мужики. Как всегда, переливчато-долго смеялся Николай. А когда вошел в комнату, притворилась спящей. И он не посмел ее будить. Утром слышала, как Николай сказал матери:

– Девчушка еще... устает на работе...

И свекровь ответила:

– Вот и я думаю. Пускай дома посидит. Не пушу больше на работу. Нехай скажет, что Ванюшка заболел. У него – гляди-ка – и в самом деле что-то не так. То ли зубки режутся, то ли золотушка...

– Вот и пусть дома посидит, – миролюбиво поддакнул матери Николай и ушел, легко прихлопнув за собой избяную дверь.

А Варенька впервые за год с лишком жизни с Николаем подумала: «Хороший у меня муж все-таки. А я дура дурой».

Полежала еще, потом встала и засобиралась на работу, будто и не слышала разговора мужа с матерью. Но свекровь остановила:

– Послушайся меня, старую, Варя. Не ходи. Нам всего хватает, слава Богу, да всего и не заработаешь, хоть умри на работе. Скажем, что Ванюшка заболел.

И Варя не пошла. Весь день хлопотала по дому, переделала,

как никогда, уйму дел. И свекровь, печальная и потерянная, к вечеру даже повеселела.

Но напряженно, как страшной молнии в нагрянувший ливень, ждала Варенька прихода мужа: «С чем придет? Не явится ли та же Сорока и к нему?» И, коротая время в нескончаемых и обыденных домашних делах, клялась себе: «Из дому больше никуда не выйду. Только бы все обошлось».

Но не обошлось. Видно, за все беззакония человеку приходится отвечать уже здесь, на земле: нет ничего тайного, что не становилось бы явным.

Николай пришел впервые подвыпившим, чернее тучи. Глаза красные, веки вспухшие, по скулам желваки туда-сюда так и ходят.

Свекровь первой попробовала разрядить обстановку:

– Колюшка, сынок, садись поешь. Гляди-ка, Варенька что настряпала. Варя засуетилась вслед за свекровью, едва скрывая испуг:

– Что-то случилось, Колюнь? Устал?

Впервые она назвала его так ласково.

Пронзив жену недобрым взглядом, Николай сказал:

– Да, Варенька, случилось. Пойдем – поговорим.

Варя неверной походкой тронулась в комнату, Николай широким шагом за ней.

– Ты что же, сучка, меня позорить взялась? А? Покрыл твой позор девичий – ни слова не сказал. Так ты и теперь... Это за любовь мою ты так...

Он недоговорил, или Варя недослышала. Крепкий удар пришелся ей в ухо. Варя, падая, ударилась еще и об кровать боком. И потеряла сознание. Очнулась: лицо

в крови. Над нею – свекровь со свекром. Николая в доме не было. Куда он ушел, вероятно, не знали и родители.

Всю ночь свекровь хлопотала у постели Вареньки, изредка приговаривая:

– Эх, доля наша женская. Вышла замуж – так не так – терпи. А иначе нельзя. Вот она к чему, любовь-то окаянная, приводит. Распушенность это, а не любовь. А чистая любовь долго терпит и все покрывает. Вот она, любовь-то твоя, теперича.

При последних словах, которые она повторила дважды или трижды, свекровь показывала на посапывающего в кровати Ванюшку. А утром вызвали фельдшерицу. Сказали, что Варя упала с чердачной лестницы. Та ощупала Варю, спросила, что да как болит, и, лукаво улыбаясь, изрекла:

– Сотрясение мозга и, по-видимому, сломаны два ребра. В больничку надо б...

Но Варя от больницы наотрез отказалась.

Вечером пришел – и опять пьяным! – Николай. Свекровь о чем-то долго говорила с ним на кухне

шепотом. Как поняла Варенька, успокаивала. Он вошел в комнату и, покачиваясь, проговорил:

– Бить я тебя больше не буду. Прости, что побил. Но чтобы духу твоего в моем доме к завтраму не было.

Подождал, что скажет Варя. Но она молчала. И он ушел.

А наутро прибежала мать Вареньки, Пелагея. С порога запричитала:

– Да что же это делается! Да злые языки наговаривают из зависти! Людям лишь бы лясы точить. А он с ума спятил! Да как же жить-то так? Ни за что ни про что убил! До полусмерти убил! Да пропади он пропадом, муж такой! Вот Бирюк-то проклятый! Недоступ окаянный!

Варя слышала, как свекровь сказала только одну фразу:

– Больная кровь ваша виновата.

К вечеру за Варенькой приехал отец и забрал ее с Ванюшкой и со всем приданным домой.

И все село судачило что о распутстве Вари да о зверстве Бирюка.

И только Алешка был как бы ни при чем.

ДУСЯ

Вьюжно-обжигающим ветром носилась молва по селу, то стихая, то вновь усиливаясь: ушла, ушла Варька от Николая Яркина, со всеми пожитками ушла; уж и исколотил он ее, гулявую, все ребра переломал; Николай убить собирается Алешку Бехтерева, так открыто и говорит, мол, подкараулю – в гроб вколочу, кишки выпущу; Алешка-то и глаз не кажет на люди, пропал...видать, Николая боится...

И уже через несколько дней: Алешка-то, пакостник, видать, струхнул путем, в город укатил; мать его говорит, что на бухгалтера учиться подался; эх, сукин сын, развалил семью; а может, Николай-то и простит Варьку? А? Чего не бывает? А она-то, она просила ли у него прощения? Повинилась ли? А?

Молва, обрастая все новыми и новыми фактами, а часто и просто вымыслом, докатывалась

и до Дуси. Дуся и верила и не верила всему, что слышала. А после людских пересудов, как после сильного весеннего паводка: когда разольется река, захлестнет берега темной водой, а потом успокоится, тихонько спадет и обнажит землю, – чего только не увидишь...

Дусе же хотелось увидеть Николая, но встреч с ним она не искала, а случайно он ей нигде не встречался. Так прошло больше месяца. Она узнала, что Варя, оставив Ванюшку на родителей, уехала в Воронеж, а Николай подал на развод.

«Ну что ж, красивая. А что непутевая, кто об этом там узнает? И что сын у нее... Найдет еще простака, да и выйдет замуж. Этот-то, тьюх-матюх доверчивый, не то помнеет?»

Дусе и жалко было Николая, и в то же время он раздражал ее. «Пора бы уж понять, не мальчик: не все то золото, что блестит».

Она была занята своим: до зимы хотелось успеть покрыть проконопаченный мхом, стоящий уже на фундаменте сруб, над которым возвышались голые стропила. Не стоять же ему второй год. То слякоть, то мороз-жара – бревна трескаются. Что хорошего?

Шифер она уже завезла. Дело было за обрешеткой да фронтонами. Денег не было. «Занять, надо занять до следующего года. Но на такой срок кто даст?» И решила идти к своей подружке Матрене. Отец ее, дядя Никиша, получал пенсию за погибшего на фронте сына; будучи уже преклонных лет, работал не покладая рук – и потому, Дуся знала, деньги у него всегда водились.

Матрена рада была приходу Дуси. А Дуся больше всего – Виталику.

– Как подросток-то! Какой хорошенький! А я вот конфет принесла да еловых шишек. Смотри, какие красивые!

Виталик сразу пошел к тете Дусе на колени и завалил вопросами:

– А когда ты возьмешь меня к себе?

– А на лодке будем кататься?

– А ландыши в лесу будем собирать?

– А бабушка Аксюта научит меня рыбу ловить?

Нечасто Матрена с сыном бывала у Дуси. Но все же раза два в начале лета им удалось покататься с Виталиком на лодке по реке, даже и ландышей в лесу набрать... А бабушка Аксюта ловила с Виталиком рыбу настоящей удочкой, оставшейся от Володи.

Дядя Никиша одолжил Дусе сто рублей, сказав:

«Когда отдашь – тогда отдашь. Строй знай. Избу поставить – дело нештучное. Помоги тебе, Дуська, Бог».

Матрена собрала на стол поужинать чем Бог послал. Яичница, молодая картошка да огурчики с грядки. Сидя за столом, Дуся все смотрела влюбленными глазами на Виталика, не удержалась, проронила, зардевшись:

– Вот бы мне такого.

Дядя Никиша сочувственно сказал:

– Добрая душа ты, Дуся, простая. Бог таких любит. Проси Господа. Пошлет тебе какую-нибудь страждущую душу.

Разговор зашел о том, что совсем недавно взбудоражило все село. Матрена работала почтальонкой. Почтовое отделение находилось в соседнем селе, в котором было правление колхоза. Оттуда Матрена и приносила все

новые и новые известия о предстоящих реформах в сельской жизни.

– Слыхала, Дусь, небось, что наша власть с нами сделать-то удумала? – спросил дядя Никиша.

– Что все хозяйства от нас заберут? А как же. Слыхала. Останусь без работы – на что дом буду достраивать? Говорят, к осени все переведут в Елец-Лозовку, там уже строят и коровники, и птичники, расширяют будто б для наших.

Дуся осеклась, почувствовав, что не это имел в виду дядя Никиша, спросила упавшим голосом:

– Разве что еще?

– Огороды урезают до двадцати пяти соток. А за каждую яблоню и грушу – дополнительный налог, по пятнадцать рублей в год, – тихо-тихо пояснила Матрена, будто боясь, что ее кто-то услышит.

– Да как же жить-то будем? – растерялась Дуся.

– А так: сады попилим, коровок и овечек порежем. А сами с горя запьем, – проронил дядя Никиша и смахнул с ресницы слезу. – Весь уклад жизни, какой исстари, под уклон пошел, а нового ничегошеньки и нету...

Выйдя провожать Дусю на улицу, Матрена наставляла:

– Ты, Дуська, не теряйся. Николай сходиться с Варькой и не думает. Да она, непокорная, и прощения у него даже не попросила. Так что будь умнее. Такие, как Николай, на дороге не валяются. Это твой последний шанс. Хватит в девках ходить, пора бабой быть.

Дуся даже смутилась. Никогда подруга не говорила ей подобных слов.

И надо же несчастью случиться! Аксютка, дородная, тяжелая, поскользнулась, наступив на яблоко, выкатившееся на дорожку

из-под яблоньки, упала и сломала ногу. Кость только хрустнула.

А и беды бывают во благо. Когда бы мы это понимали. Прибежала за Дусей на ферму соседка: так и так. Отпросилась Дуся с работы да на завод: машина нужна мать в больницу везти. Не занят делом был в этот день только «ЗИЛ» Николая Яркина. В кабину со сломанной ногой не поместить – уложили стонущую Аксютку на матрасе в кузов. Дуся – рядом с ней. Ну а уж назад – Дуся с Николаем в кабине...

Ехали молча. Дуся ни о чем не спрашивала, Николай ни о чем не рассказывал, хотя, вероятно, тяготился пережитым, почему и об отвлеченном говорить не хотел.

Вот уж рукой подать до родного села. «ЗИЛ» пылит вдоль ореховой рощи, и Дуся, неожиданно для себя самой, говорит:

– В этом году орехов, гутарят, тьма тьмуцая. Люди просто огрузились. Даже на базар возят продавать.

– Их еще и теперь много. Но вылущиваться стали, осыпаться, – поддержал разговор Николай и, сворачивая на обочину, к роще, спросил:

– А ты ходила за орехами хоть раз?

– Когда мне, – ответила Дуся. Ее вдруг охватило необъяснимое волнение. Мелькнуло: «В лес с Николаем. Орехи собирать. Сама, дура, напросилась. Вот сейчас бы проехали мимо...»

Вспомнилось: замужние подружки не раз рассказывали, что мужики, оставшись один на один с девкой, становятся как ураган – не устоять. Все уговоры тогда – трывтрава. И Дусе стало страшно...

Николай наклонял ветки лещины, а Дуся, поднимаясь на цыпочки, срывала початки с выскальзывающими из них желто-коричневыми

ядрышками и клала в ведро. И, как ни сторонилась, она постоянно сталкивалась – и все почему-то грудью – с Николаем.

Орехов было не густо: ветви уже были обобраны. Но все же досталось и им кое-что.

И вдруг, отпустив очередную лещину, Николай легко обнял Дусю за талию и, тихонечко прижав к себе, нежно, будто впервые в жизни, поцеловал. И, заглянув в ее испуганно-радостные глаза, сам смутился, покраснел. И нерешительно повторил поцелуй, продлив его. И все это было так непохоже на то, о чем рассказывали подружки, что весь Дусин страх улетучился. Ей вдруг самой захотелось поцеловать его. И она, смущенная, уткнувшись лицом в расстегнутую рубашку, стала целовать, скользя губами по легким завитушкам волос на груди. Дрожащие руки ее инстинктивно легли на его плечи; пальцы обеих рук, как гребни, прошли по мягким волосам, сомкнувшись на его затылке...

Сердце Николая застучало учащенно, по телу его прокатилась волна, и что-то волнующе-сладостное наполнило все естество Дуси.

Казалось, Дуся сама вызывала ураган. Но не ураган, а тихий-тихий ветерок с обильным теплым дождичком легко и нежно повеял над землей, лаская ее и насыщая... лаская и насыщая вновь и вновь.

А когда они садились в машину, Николай сказал Дусе, и глаз не смеющей поднять на него:

– Какая ты нежная. Мне так с тобой хорошо. Наверное, мне, дурачине, для жизни и нужна была ты, а не Варька...

И зачастил Николай к Дусе; благо, она одна теперь в своем теремке оставалась. Благо, и пред-

логов предостаточно: обрешетку на избу завезти, в выходной верх с Толькой Окунем обрешетить, а по вечерам – фронтоны да карнизы подбить. Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Все село заговорило: Колька-то Яркин совсем почти к Дуське Кандычке жить перешел... и днюет и ночует...

Запылала Дуся, словно маков цвет, ожила, расцвела, похорошела. Казалось, вот оно, счастье!

Николай как-то сказал:

– Свадьба нам не нужна. Не маленькие. Вот покроем избу, печь сложим... И с земляными полами перезимуем. Главное, доски просушить. В избе и сложим их, а просохнут – сам полы настелю.

Он говорил обо всем, как о решенном уже. И Дусе было радостно и страшно. В мечтах она уносилась в счастливую семейную жизнь: «Вот рожу сыночка... вон как Виталик у Матрены... буду дома хозяйничать, а Николай работать будет на заводе. Завод-то, авось, в другое село не увезут». И не сильно расстроилась, когда ее любимых теляток увезли в Елец-Лозовку. Вот только страшно Дусе было смотреть на осиротелые, мертвые коровники и телятники, с распахнутыми настезь воротами, с пустым загоном. Да вот только еще просыпалась Дуся поутру с ощущением своей ненужности: не надо было никуда спешить. Одни безутешные мысли нагнетали другие: «А вдруг Николай да отступится от меня?»

– Колюш, а если родители твои супротив пойдут, – сказала она ему как-то с плохо скрываемым волнением.

Николай помолчал, подумал, и сощурился ясные глаза, сказал:

– Да не бойся ты, Дусь, мы уж и сами с усами. Загвоздки, конечно, есть. Видишь ли, мать твердит:

«Дусяка свою мать не бросит, к нам жить не пойдет, а ты что ж, готов бросить нас, в примаки податься. В примаках, сынок, хлеб горек».

– Ну вот, – испугалась Дуся.

Он подошел к ней, обнял, прижал к груди, легко и нежно поцеловал:

– Не трусь. Я тебя в обиду не дам.

Говорят, когда женщину не убеждают слова, то убеждают ласки любимого.

Но вот пришла из больницы Аксютка, и Николай стал реже бывать у Дуси, только по делу. Встречая его, Аксютка недовольно бурчала скрипучим голосом:

– Ну чего шастаешь, девку позоришь? Ить не женишься, чай? С мужика-то, с тебя, как с гуся вода, а ей, девке, как людям в глаза глядеть? Шалава, скажут, с мужиком спуталась.

Николай отмалчивался.

Спешил к зиме отделать дом. По-прежнему после работы и по выходным прибегал (и частенько не один, а с кем-нибудь из друзей), чтобы то рамы вставить, то застеклить их, то потолок забрать...

Но зима в этот год, ворвавшись неожиданно лютыми и преждевременными холодами, спутала все планы. Не успели в доме ни печь сложить, ни потолок мало-мальски утеплить.

На печь нужен был красный кирпич, а денег у Дуси уже не было... Не раз Николай давал Дусе деньги, чтобы она купила нужный стройматериал, иногда привозил что-то сам. Дуся беспокоилась:

– Что родители скажут?..

– Много будут знать – скоро состарятся. В прошлый раз я матери сказал, что в долг дал Тольке Окуню. Вроде поверила.

Долго Дуся не решалась сказать Николаю, что беременна. Наконец собралась с духом...

Он засмеялся, обнял ее, поднял на руки и закружил по комнате:

– Это ж здорово! Я хоть о Ванюшке быстрее забуду. Ты молодец. Поставил на земляной пол ее, задохнувшуюся от счастья, и признался:

– А то по Ванюшке сколько раз уж плакал. Забуду быстрее. Пошел прошлый раз с гостинцами для сына – на порог не пустили, как-как только не обзывали. Больше не пойду никогда.

Подумал, помолчал и прошептал в ушко Дусе:

– Сватов в воскресенье пришло.

Утром рано подошла Дуся к новому дому, видит: весь порог засыпан то ли солью, то ли сахаром. «Что за чертовщина, – подумала она. Позвала мать. Та сказала, смеясь:

– Чередит, можа, кто, ворожит. Ну да ты не подходи. Я сама.

Взяла веник да и смела все в сторону.

С утра в воскресенье кружило, вьюжило – и света белого не видать. К вечеру сугробы, распластавшись крыльями-языками, перекрыли все улицы.

«Не придут, видно, сваты в такую страсть», – думала Дуся. Тревожно было на душе, муторно.

В сумерки скрипнула дверь, тихий голос вкрадчиво сказал:

– Аль хозяева дома?

У Дуси захолонуло сердце: это была мать Николая. И одна. Анюта степенно перекрестилась на старинный образ Спасителя, висевший в углу над столом, поклонилась:

– Ну здравствуйте. Фу-у-у, еле дошла.

– Здравствуй, милая, здравствуй, – грубовато-радостно пробасила Аксютка, выкатываясь из-за печи навстречу будущей сватье. – Раздевайся. Садись вот. Дусь, собери-ка на стол.

Дуся вскочила к печи, чтобы поставить на стол приготовленное для сватов угощение. Но Анюта как отрезала:

– И раздеваться не буду. Незванный гость хуже татарина. А то погоните – и полушубок забуду свой...

– Как это незванный? – опешила Аксютка. – Гость ты... долгожданный. Рады-радешеньки... Намедни вот...

Дуся как приросла к печи, так и осталась там стоять.

А Анюта раздраженно заговорила, перебивая Аксютку:

– Мужика облапошить-привадить много ума не надо-ть. Остался без жены... ему, понятно, баба нужна. Ну а ты-то, Дусь, девка. Хучь бы посовестилась. Живешь как с мужем законным, не боясь, не стесняясь. Негоже так! Срамница... срамница... Стыд напрочь потеряла. Сватов ждешь? Блажь какая. Каких сватов? Неровня ты ему. Неровня. Каждый по себе дерево рубит. Христом Богом прошу: отвяжись ты от него. Придет время – за какого-нибудь вдовца выйдешь. Не отдам тебе Колюшку, не отдам... Она вдруг заплакала, поднялась да и за дверь. Ни Аксютка, ни Дуся не нашлись даже что ответить ей.

Через день, к вечеру, пришла Матрена, рассказала, что сестра была у отца, плакала-причитала: не нужна Дуся – и все тут. Николай у нее – видишь ли? – сокол ясный. Она за него любую возьмет. Улучив момент, когда Аксютка отошла к печи, Дуся тихо шепнула:

– Матрен, ты бы сказала ей, что я беременна. Николай-то, видно, не сказал. Неудобно ему, небось.

– Говорила, – тихо ответила Матрена. – Так вовсе взбеленилась. Там орала, кричала. Стыдно повторять что. Сделает, говорит, то, что и все делают. Женить собирается его на какой-то Ирочке из Мечка.

Дуся похолодела вся, только и вымолвила:

– Батюшки-светы! Пропала я.

– Да ты, Дусь, не отчаивайся. Он-то не телок, мужик, чай, с характером.

– Да, с характером, – тихо и неуверенно повторила Дуся, уронив дрожащие мелкой дрожью руки на колени. Глаза ее были широко открыты, и из них медленно катились слезы.

– Вперед Валаамова ослица заговорит, нежели Николай что поперек матери скажет, так-то, – глухо пробасила Аксютка от печи. – Отступись! Не будет добра без родительского благословения. Я и Николаю скажу: не ходите против воли родительской.

– И ты туда же, – проговорила еле слышно Дуся. И Матрена вступилась за подругу:

– Ну что ты, тетка Аксютка? Ты-то хоть не вреди собственной дочери.

– А что же ей, тетке Анюте, дядя Никиша сказал? – поинтересовалась Дуся, вытирая слезы с лица трясущимися ладонями.

– Отец сказал: «Греха ты не боишься, Анюта. Бог тебя за Дусю накажет. Светлая душа – Дуся, чистая».

А когда провожал ее, просил, чтобы к нему Николая прислала.

Говорят, Бог ведет до поры до времени, пока слушают и понимают больших и малых глашатаев

его истин. А потом бросает непокорных людей, как бросают ребенка на глубине реки, хотя и под контролем: хлебнет воды, но научится плавать. Да только научится ли? Дед Никиша умер неожиданно для всех. И не болел вроде. Весть о его смерти будто оборвала что в душе Дуси. Ей вдруг стало страшно, страшно жить. С его смертью гасла в душе Дуси надежда на жизненную справедливость. «Кто теперь усостит тетку Анютку? Кто скажет мудрое слово Николаю? – думала Дуся. – Некому. И за меня вступиться некому теперь».

Николая не было целую неделю, непомерно длинную и томительную. Дуся забросила все хлопоты по строительству. Да и что сделаешь зимой, в холод? Управлялась только с овцой, поросенком да курами. Ложась спать в холодную постель, думала: «Неужели он такой мямля? Неужели женится на какой-то там Ирочке, какою и в глаза-то не видел?»

И вот пришел... поздним вечером... Отрешенный, с потухшим, потупленным взглядом. Аксютка, наспех надевая валенки на босу ногу да накидывая плюшку, на ходу бросила:

– Пойду к куме... посумерничаем. Вы без меня кашу заваривали – без меня и расхлебывайте. Не молоденькие, авось. И уже от двери просительно-назидательно сказала:

– Слышь ты, Дусь... нюни-то не распускай.

Николай чужим, глухим голосом выдал:

– Ты прости, Дусь. Родители как с ума сошли. Ни в какую.

Тяжелый ком перехватил горло Дуси, она молчала. Она просто и не знала, что ему сказать. Внутри дрожало всё мелкой дрожью.

– Хотят меня женить на какой-то Ирочке из Мечка. Отец хорошо знает эту семью. Хорошие люди, говорит, – продолжил он более уверенно и даже взглянул как-то тупо на Дусю.

«А мы, значит, люди плохие», – пронеслось у нее в голове, но она, давая подступающие слезы и не желая их показать Николаю, проговорила тихо, безутешно:

– Будь счастлив.

И, готовая разрыдаться, почти простонала:

– Иди! Прошу, уходи!

И он ушел. А она, уткнувшись в подушку, плакала навзрыд, приговаривая:

– И чего ж ты, маменька, такую меня зародила? И почему я такая несчастная?

Аксютка пришла нескоро. Тихо подошла к неподвижно лежащей дочери:

– Ушел?

– Ушел.

– Насовсем?

– Насовсем.

– Ну и Бог с ним, с пентюхом этим. Разве это мужик? Потому, может, и Варька его не любила, слюнтая. На кой ляд он и тебе, верхогляд безалаберный.

Дуся не дала матери договорить:

– Да ничего ты не знаешь, ничего понять не хочешь. Да люблю я его. Да беременна я... уже три месяца...

Аксютка лишилась дара речи. И сначала просто шептала что-то под нос, наконец произнесла:

– Три месяца уже? И ты ни слова мне? Аборт надо... скорее... вон к бабке Михалихе. Врачи-то уж, ясное дело, не возьмутся.

– Не буду я ничего делать. Рожу. Замуж не выйду – так хоть ребеночка воспитаю.

– Легко, ты думаешь, одной-то? Кто дом достраивать будет? Я, что ли?

– Ты вон нас одна, без отца, троих подняла.

– А жили-то как? С просяники на лебеду перебивались. С голоду пухли. Да и кто думал, что он умрет? Коли знала бы, что без мужа останусь, разве бы я родила вас троих в такие-то годы? Так ить опять же от мужа. А ты от кого? Позор-то какой! И глаз на люди не показать! В девках родить!

– Родила же вон в девках Лизка, Матренина сестра, да еще потом и замуж вышла, – не сдавалась Дуся.

– Так где вышла? На чужбине, да за престарелого. Говорят, аж на двадцать годков старше ее.

– Рожать буду, рожать, – изнемогая от невозможности убедить мать, шептала Дуся.

Однако каждый день Дуся просыпалась с тайной надеждой: вот Николай стукнет в окно, скажет, что мать смягчилась или что не любя ему мечковская невеста.

Но дни тянулись за днями, как нескончаемая китайская стена, которую Дуся взялась обойти, и ничего не менялось. Мать ни на один день не переставала точить-изводить. Теперь у нее появились новые козыри, она твердила, как заведенная:

– Ни одному мужику чужие дети не нужны... кто тебя с ребенком возьмет, если ты и без ребенка не больно нужна кому... я старая, вот-вот умру. А тебе и работать, и дом достраивать, и ребенка растить, а помочь некому, разу некому.

Так прошел месяц. И вот опять бабка Домашка пришла с известиями. Ей, видимо, доставляло удовольствие терзать Дусю:

– Слыхала, моя золотая, Николаю Яркину высватали невесту в Мечке?

Дуся молчала, собрав все свои силы в кулак, чтобы не заплакать, и ощущая, как душу все сильнее и сильнее сжимают железные тиски.

За Дусю отвечала мать:

– Земля слухом полнится, слыхали. Дай Бог счастья ему с молодой-то женой. Говорят, хорошая девка, богатая.

– Оно ить за морем и телушка – за полушку, да рубль перевоз. Мягко стелют, кабы спать жестко Анюте с Филей не пришлось, – загадочно прошелестела Домашка. – Вчерась сосватали, а втупрошь, на Николу, свадьба уже. Спешат уж больно. Да постом. Нет, в наше время постом свадеб не играли. Грех-то какой. И чего спешат?

– Боятся, жениха кто уведет, – раздраженно ответила Дуся, ощущая вновь усиливающуюся дрожь во всем теле.

– А то и вправду бы, Дусь, – искушала бабка туманными намеками, – за любовь, за нее, золотце мое, и морду соперницам завсегда били.

– При чем же тут она-то?

Голос Дуси осекся, из глаз брызнули слезы.

– А при том. Не зарься на чужое, не рушь. Кабы каждый брал в жизни свое только, не было б таких несчастий в миру.

Заглушая всхлипывание дочери, Аксютка сокрушенно пробасила:

– Да кто бы и сказал, где оно свое, а где чужое...

– Родители все это... тетка Анютка... – с трудом выговорила Дуся.

– А и родители. Скажу без обиняков. Чего тут тень на плетень наводить. Ох как часто калечат они

жизнь любимых чадушек своих, – продолжала рассуждать Домашка все более и более сурово. – Вон хоть Доричи. Ить не дали жизни Марусе, не дали. Ей теперь, горемычной, век одной, как былинке на ветру. И Володька вон пропал. Кто зна, мож, и по их вине. Иль вон: Петюшка, сынок Алексашки, пришел с войны без руки. Ну что ж – без руки. А поглядеть – лепота. Мужиков-то, парней сколько погубило на фронте! Страх! В селе вдов молодых, девок... И безрукому рада была бы любая. Женился бы да и жил, деток на свет пустил. Он и безрук, а троих правых стоил. Ан нет. Что родители сделали из него? Раба. Искромсали жизнь его. Исковеркали. Так и состарился. А родители поумирили – и он один одинешенек. И никому не нужен. Вот она, любовь-то родительская. Ох и злая штуковина, любовь эта. Как часто застит свет она...

И в день свадьбы Николая, прямо в праздник Николая Угодника, решила Дуся. Омрачение-озлобление какое-то нашло и вместе с тем отчаяние. Эх, если б с ней в эти минуты какая добрая душа оказалась. Но даже и Матрена не пришла. Видно, на свадьбе у племянника гуляла.

И пошла Дуся к бабке Михалихе. Та только руками всплеснула:

– Что ж ты, милая, довела до такого? Грех-то какой! Смертный грех! Он уж шевелится, небось?

– Шевелится, – созналась Дуся. – А грех, он и так грех. И не мне одной...

И когда счастливому, вероятно, Николаю, кричали «горько», Дуся корчилась от страшной боли и проклинала все на свете и прежде всего свою непутевую жизнь и себя... за малодушие.

Двое суток она, истекая кровью и решившись на смерть, лежала в домишке Михалихи и только на третий день с трудом добрела до своей мазанки. Протискиваясь через сугробы мимо нового дома, взглянула на него не с прежней любовью, а с ненавистью. От него повеяло на Дусю холодом, как от гроба. Будто это он отнял у нее маленького сыночка. Войдя в избу, не хотела ни говорить с матерью, ни даже глядеть на нее. Обида душила Дусю. Тоска, тяжелая, черная, беспросветная, навалилась на Дусю – ни свалить, ни отодвинуть.

Тихо-тихо тикали в простенке между окон ходики; в углу мирно скреблись и попискивали мыши... За окном почему-то каждый день заполошно и настойчиво кричали вороны. Дуся не любила этих бесстыжих птиц. Ей казалось, что они приносят несчастье. Дуся оглядывалась на свою жизнь – и все ей виделось чернее грязи. А впереди – омут бездонный, леденящий. Душу терзали звери рыскающие.

Аксютка, редко и тяжело ступая по скрипучим половицам, каждое утро шла к печи, чтобы протопить ее и хоть что-нибудь приготовить поесть. Что? Ну, кулеш пшенный, картошку в тулупах-кожушках... Дуся же все лежала и лежала: не было у нее никаких сил и никакого желания подняться, иссякало всякое желание жить. На мать она по-прежнему не хотела смотреть, не то что говорить с ней. Вероятно, Аксютка не выдержала гнетущего душу безмолвия и поделилась случившимся с соседкой...

Бабка Домашка пришла, с порога запричитала как по покойнику:

– И усю-то ноченьку я ныне проплакала! И что ж такэ деется! И чо ж ты, Дуська, сотворила с

собой? И чо ж ты мать-дуру послухалась? Да нешто можно было изводить-губить дитя невинное? Мать, она не вечная. Умрет – с кем останешься? Одной вековать – тяжесть смертная, тяжесть смертная, неизживная. И чо ж ты дуру матрю послухалась? Аль голодный год? Аль есть нечего? А и взрастила б ты и одна дитятко милое. А и было б тебе на старости лет оно опорую.

И плакала Домашка навзрыд то ли по изведенному Дусей ребенку, то ли по своим неродившимся детям и по своей одинокой горькой судьбе. А вместе с ней беззвучно плакала и Дуся.

И только Аксютка пыталась урезонить соседку:

– Ды окстись ты, кума, не трави душу. И что ты причитаешь... ну как заживо хоронишь...

Приходила и Матрена. Успокаивала, ободрявала... А Дуся повторяла все одно и то же в который раз:

– Михалиха сказала...она-то уж знает... у меня никогда больше не будет детей... а был бы сыночек...

А когда, наконец, уже в марте, Дуся стала вставать и выходить на улицу, попыталась взяться хоть за какие-то мелкие дела, почувствовала, что у нее болит позвоночник. Нестерпимая боль пронзает, пронзает так, что холодеют, отнимаются ноги.

Когда зацвели сады и все село утонуло в млеющей бело-розовой дымке, а неисчислимые пчелы вылетели из ульев на сбор нектара, у Дуси совсем отнялись ноги. И ее увезли в больницу, сначала районную, а потом в областную. Диагноз был страшным: рак. После двух операций, изможденная и поседевшая, на костылях, она вернулась домой, уже поздней осенью. Аксютка, исхудавшая и состарившаяся, обняла ее трясущимися руками и заплакала:

– Прости меня, дочка. Христа ради прости.

– Всем я все простила, – грустно сказала Дуся. – Виновата сама, что безвольная такая.

Да, все и всем простила Дуся. Прости, Господи, и ты ее!

ЭПИЛОГ

Безрадостным было лицо жениха на свадьбе. Не слышал и после свадьбы никто переливчатого смеха Николая, да и улыбка его стала какой-то приглушенной, придавленной, будто на нее накинута невидимую сеть, сдавили арканом...

Улестливая, Ирочка быстро завоевала симпатию и свекрови, и свекра. Вместе со свекровью – и печь топить, и блины печь... «Мамаша», «папаша», – с ее уст не сходило. Вот только Николаем недовольна была: неласковый, мол, холодный... Но скоро невестушка открыто заговорила о том, что жизнь

в деревне – скука беспросветная. И стала манить мужа в Липецк. Мол, пропишемся у старшей сестры, родители обещают денег дать на кооперативную квартиру...

Николай слушал вполуха. Но время шло. Пришла весна. И по селу прокатился слух о страшной болезни Дуси. Будто острая горькая заноза вонзилась в сердце Николая. Толька Окунь как-то сказал открыто:

– Это ты погубил Дуську, Николай. Какая девка была! Бойдевка. Душа-девка. Погибла... Николай почувствовал вдруг, что все люди теперь смотрели на него с

осуждением, относиться стали отчужденно-холодно. И летом, когда Дуся лежала в онкологическом отделении, Николай с Ирочкой уехали жить в Липецк. Приезжали редко. И ненадолго. Работа. И остались старики одни в большом и пустом доме.

– Ну, Анютка, – сказал как-то Филипп жене, – за что мы с тобой боролись, на то и напоролись.

– Бог наказал, за Дусю. Отец меня, дуру, предупреждал, – всплакнула Анюта. – Верно отец, покойник, говорил: гордыня меня одолела.

Оставила Дуся костыли и ходила уже только с одной палочкой, надеялась, что и ее скоро оставит. Да только вдруг вновь стало плохо. И предстояло пройти еще через страшные испытания, лечь в третий раз под нож. Но после этой операции она уже не встала. Промучившись еще почти год, летом, в августе, Дуся умерла. Сестра Дуси Ольга рассказывала, что перед смертью, уже в беспомощстве, Дуся все повторяла: «Сыночек, миленький, прости меня».

Хоронили всем селом. Аксютка не смогла идти за гробом и осталась дома. Когда несли гроб по селу, со всех сторон стекались люди, и млад и стар. В общий поток влилась и Анютка. Шла и плакала беспомощными, горячими слезами, обвиняя себя во всем, а люди сторонились ее, будто прокаженную.

Когда гроб поставили у могилы и все стали подходить прощаться, подошла и Анютка. В лице Дуси она прочла осуждение и какую-то скрытую боль – и не смогла уж если не поцеловать покойницу в лоб, в венчик, то хотя бы поклониться ей, – едва слышно

прошептала только: «Прости меня, если можешь». А выйдя за кладбищенскую ограду, столкнулась с Пелагеей (после разрыва молодых сватья ни разу не разговаривали):

– Ну как там Ванюшка?

– Растет. Что ему подеется, – ответила Пелагея печально.

– Прийти проведать можно? – спросила опять Анюта, потупившись, будто и перед Пелагеей была в чем виновата.

– Приходи, – коротко ответила Пелагея и отошла от Анютки.

Через несколько месяцев после смерти Дуси умерла и Аксютка. Ее похоронили рядом с дочерью, как-то совсем незаметно.

Не прошло и года – преставилась и Анюта. Как и Дуся, от рака. Матрена, ухаживающая за ней в последние месяцы, рассказывала:

– Сестра говорила: «Ох, Матрена, боли страшные. Как же их бедная Дуся терпела! Ну, знать, и мне надо их вынести». И терпела, терпела. Не стонала. Не кричала.

А Филиппа парализовало, и его забрали в город. И пошел их дом с молотка. А Дусин – купили на слом, в другое село. Вероятно, слишком тягостно было бы для любого, кто знал Дусю, жить в нем.

А Варенька? Что Варенька? Вышла замуж и родила дочку. Вот только муж пил и гулял, и скоро Варенька стала и не Варенька вовсе. Когда она, одна или с дочкой (муж к ее родителям никогда не ездил), приезжала домой, сельчане дивились:

– Куда красота-то девалась? Засохла вся... пожелтела... горбатая стала какая-то...

В конце концов с мужем развелась и больше замуж выйти и не стремилась. Ванюшку забрала к себе, когда он уже закончил техническое училище в Липецке. И не

сложилось, совсем не сложились ее отношения с сыном. Он пьянствовал, блудил, был дерзок с матерью...

Пелагея как-то посоветовала дочери:

– Варь, ты бы ходила к какой-нибудь бабке. Или в монастырь. Мож, на нем порча. Лихих людей-то развелось полным-полно.

Последние годы Пелагея все чаще жаловалась на людей и на жизнь. Говорила, что родители жили, может, и скуднее, да счастливее. Не знали ни разводов, ни бед таких, ни болезней страшных.

И Варя послушалась мать и поехала в далекий монастырь. В дороге ей почему-то стало плохо. Кружилась голова, тошнило, по всему телу прокатывалась дрожь, проступая гусиной кожей, бросало то в жар, то в холод. Службу она выстоять не могла, вышла из храма на свежий воздух...

Но после службы, полуживая, поплелась все же на прием к старенькому игумену Аверкию. Сидела на длинной и широкой скамье в коридоре перед кельей отца Аверкия и никак не могла дождаться своей очереди. А когда очередь наконец подошла, почувствовала, что не может войти в келью. Люди на нее смотрят – а ее будто сковало. Отец Аверкий вышел сам и, обратившись сразу к ней, спросил:

– Что тебя ко мне привело, матушка?

– Сын... не слушается, пьет, материт меня...

– И кто ж виноват?

– Может, порча на нем? Люди злые насмеялись...

Отец Аверкий горько улыбнулся, покачал головой:

– Грехи, матушка, грехи...

– Какие грехи? – не поняла Варя.

– Родительские. А больше всего твои...

– Гуляла... я от мужа первого... – с трудом выговорила Варя.

– И не только... Забыла... Ходила к лиходейке, чтобы соперницу погубить... Кому ты на порог соль-то сыпала? Грешница... Сколько людей, не дожив веку, ушло из жизни. Ты сильно виновата в том. Ходи в церковь, молись, кайся. Может, Бог простит.

Алексей выучился на бухгалтера. Работал в райпо и выслужился до главбуха. Женился поздно. Говорили, что жена и красивая, и богатая, и уж такая умница. Говорили, что построил большой дом на одной из лучших улиц райцентра (рядом и лес, и река Дон). Вот только детей у него так и не было.

Маруся Дора прожила длинную жизнь. Работала. Работала. На родителей, а после их смерти на племянников. Всю свою жизнь вспоминала о Володе, рассказывала о нём людям, чужим, конечно. Наивная, верила, что он обязательно вернется. Никто из других мужчин ее никогда не интересовал. Умерла в доме престарелых.

Виталик через всю свою жизнь пронес любовь к тете Дусе... и написал эту небольшую повесть.

